



Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- [Евгений Соловьев](#)
 -
 - [Вместо предисловия](#)
 - [Глава I. Дом № 152 на Еврейской улице](#)
 - [Глава II. Франкфуртский банкир Майер Ротшильд](#)
 - [Глава III. На дороге к всемирному владычеству](#)
 - [Глава IV. Натан Ротшильд и Лондонский дом](#)
 - [Глава V. Барон Джеймс Ротшильд из Парижа](#)
 - [Глава VI. Третье поколение – бароны Ротшильды](#)
 - [Глава VII. Ротшильдиада](#)
 - [Приложение](#)
 - [Источники](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
-

Евгений Соловьев

Ротшильды

**Их жизнь и капиталистическая
деятельность**

Биографический очерк

*С портретами Ротшильдов,
гравированными в Лейпциге Геданом, и
другими иллюстрациями*



Майер-Амшель Ротшильд, основатель могущественного банкирского дома

Вместо предисловия

В последнее время в газетах все чаще и чаще начинают появляться известия о том или ином европейском или американском миллиардере. Сообщается, например, что богач Пульман, желая выдать свою дочь за потомка когда-то владетельных принцев, предложил в приданое невероятную сумму в 200 млн. долларов (около 400 млн. рублей), или что другой богач, Вандербильдт, заплатил своей жене за развод 20 млн. рублей, или что лондонский Ротшильд выстроил для своих лошадей конюшню из белого мрамора и осветил ее электричеством... Подобных, разумеется лишь приблизительно верных, сведений можно было бы собрать очень много, и многочисленность их лучше всего говорит нам, как интересуется публика главнокомандующими современной биржи и промышленности, и как хотелось бы ей проникнуть в их интимную жизнь, спрятанную за толстыми стенами роскошных палаццо или за густою тенью вековых парков.

Интересуясь миллиардерами, публика, безусловно, права. Недаром лорда Натаниэля Ротшильда зовут “королем современной биржи”, недаром Ротшильды вообще именуется “financial rulers of nations”. В банкирских конторах под звон золота, под шелест банковых билетов решаются дела и совершаются операции, о которых не только не забудет упомянуть будущий историк XIX века, но и не преминет выдвинуть их на первый план. Ведь рядом с идиллическими известиями о бракосочетаниях и конюшнях с электрическим освещением до нас доносятся и известия совсем другого рода. Тот же Пульман, который непременно хочет, чтобы его внуки и внучки были сиятельными, еще сравнительно недавно выдержал жестокую борьбу с тысячами своих рабочих, потребовавших у него увеличения заработной платы. Мы читали о диких и страшных сценах грабежа, насилия, пожаров; о том, как все вагоны, изготовленные на заводах Пульмана и встретившиеся стачечникам, предавались разрушению, о том, наконец, как целая армия рабочих готова была идти на городок Пульмана и разрушить его до основания.

Миллиардер – понятие не только новейшего времени, а прямо наших дней. Средние века, XVI, XVII и XVIII столетия не знали его. Мы слышим, правда, о могущественных банкирских домах той эпохи, например, о еврейско-немецкой фирме Фуггеров, против власти которых, кстати сказать, так горячо предупреждал своих сограждан знаменитый Ульрих фон Гуттен. Но их капиталы сравнительно с грудями золота наших Ротшильдов,

Гульд, Асторы – средневековый приземистый домик перед четырнадцатизэтажными гигантами Нью-Йорка или Чикаго. Просмотрите хотя бы следующую таблицу, посвященную одним лишь американским богачам; кто верит в могущество денег, тот не может не поверить и в могущество миллиардеров:

	Капитал в руб. золотом	Доход в руб. золотом
Джон Гульд	350 000 000	20 000 000
Джон Макей	300 000 000	15 000 000
Вандербильдт	150 000 000	8 000 000
Джонс	125 000 000	6 000 000
Асторы	115 000 000	5 000 000
Стюарт	50 000 000	2 500 000
Беннет	40 000 000	2 000 000

Французу Максу Орелю, сообщившему эти цифры, они кажутся поразительными. “Вот каковы, – восклицает он, – эти князья страны долларов! Богатейшие английские состояния не составляют таких сумм. Действительно, состояние герцога Вестминстерского достигает только 100 млн. руб. золотом, а он богаче всех в Англии; состояние герцога Сутерлэндского не превышает 40 млн. руб. золотом, Нортумберлэндского – 30 млн. руб. золотом, а маркиза Бьюта – 25 млн. руб. золотом”.

Но если француз, принадлежащий к одной из самых богатых наций в мире, поражен этими уродливо-грандиозными цифрами, этими ихтиозаврами капитализма, – что должен почувствовать русский человек, которого до сей поры Бог миловал от всяких миллиардеров? На самом деле, у нас состояния Губониных, Кокоревых, Сибиряковых, которые едва ли можно мерить десятками миллионов, – считаются уже из ряда вон выходящими. По-американски богат был у нас, кажется, только барон Штиглиц, оставивший, как говорят, после себя около 100 миллионов рублей.

При ближайшем рассмотрении приведенной выше таблицы особенно любопытным оказывается то обстоятельство, что большая часть миллиардеров, точнее, все, кроме Асторы и Вандербильдта, – накопили свои груды золота сами в течение каких-нибудь 10 – 20 лет. По наследству они получили только здоровые руки да житейскую ловкость. Гульд нажился при постройке железных дорог, Макей и Джонс – также, Беннет – на газетном деле, изданием своей знаменитой “New-York-Herald”.

Это создание миллионов из ничего, путем одной изобретательности и сделок, безусловно, поучительно. Интересную его иллюстрацию находим мы в биографии “нефтяного короля”, американца Рокфеллера: “Еще в семидесятых годах Рокфеллер служил бухгалтером низшего разряда в

одной из коммерческих контор Пенсильвании. Счастливый случай свел его с одним из тамошних чернорабочих на нефтеочистительном заводе, придумавшим усовершенствованный способ очистки нефти. Рокфеллер тесно сблизился с ним, и на свои, более чем скромные средства они открыли небольшое нефтеочистительное заведение, вырабатывавшее керосин такого превосходного качества, что дела компаньонов пошли как нельзя лучше и с первого же года дали им большую прибыль. Вскоре затем Рокфеллер и изобретатель основали товарищество нефтяного производства и вступили в секретную сделку с некоторыми из американских железных дорог. Правления последних обязались за известное процентное вознаграждение провозить возможно большее количество керосина с завода Рокфеллера и содействовать возможно большему сбыту его. Железнодорожные общества сдержали слово и настолько содействовали усилению спроса на рокфеллеровский керосин, что в восьмидесятых годах “нефтяной король”, как прозвали американцы Рокфеллера, получал приблизительно 2 миллиона рублей серебром ежегодного чистого дохода.

Примеров такого быстрого, молниеносного обогащения Европа не знает. В европейцах меньше предприимчивости, меньше охоты рисковать, больше утомления от вековой жизни, чем в американцах. Сам европейский общественный строй представляет для деятельности отдельного человека гораздо больше преград, чем строй Нового Света. Верный традициям прошлого, европеец не столько ценит роскошь, сколько комфорт; его идеал – быть рантье, то есть жить хорошо, спокойно, безбоязненно, тогда как американец любит саму пляску миллионов, сам процесс обогащения – процесс, который дает ему сильные, жгучие ощущения. Американец не успел еще познать суету сует и смотрит на мир Божий глазами Тамерлана.

Американцы – народ деловой, предприимчивый, более деловой, чем умный. Они до того заняты устройством своего *земного* житья, что вовсе не знают европейских мучительных болей и европейского разочарования. Там, сверх того, нет и двух образований, и языческий классицизм не вносит раздвоенности в душу человеческую. Там нет каст. Лица, составляющие слои в тамошнем обществе, беспрестанно меняются: они поднимаются, опускаются с итогом *credit* и *debit* каждого. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно; если она возьмет верх, люди с нею не сделаются счастливее, но будут довольнее. Довольство это, вероятно, будет плоше, суше, беднее того, которое носилось в идеалах романической Европы, но с ним не будет ни меланхолии, ни централизации, ни, может быть, голода.

Эта-то душевная бодрость, это отсутствие всяких традиций, всяких

пут душевных и общественных, вместе с грандиозным приливом эмиграции, заселяющей все новые и новые земли большого материка, и помогает американцам с такой головокружащей быстротой создавать свои миллионы и миллиарды, не спрашивая себя, зачем и к чему, и в полной уверенности, что money making – делание денег – главное назначение человека на земле.

В сравнение с американскими миллиардерами в Европе могут идти только Ротшильды. Никто не считал их состояния, никто не знает его действительных размеров. Но по представленным ниже данным читатель увидит, что оно громадно и что, быть может, даже не имеет себе равного на земле. Оно создавалось десятилетиями; мало того, чтобы оно стало возможным, нужны были совершенно особенные, специальные условия общественной жизни – особая религия, особая нравственность, особая политическая и экономическая обстановка. Ниже мы постараемся определить все эти могущественные факторы нарастания ротшильдовских миллионов, но и предварительно будет полезно сказать по этому поводу несколько слов.

Жажда наслаждений настолько естественна и характерна для человека, что нет такой эпохи и такого периода, когда она не фигурировала бы на сцене и не играла первенствующей роли. В самых страданиях и лишениях аскетизма люди находили наслаждение гордости и деятельного упражнения воли. Но только XIX век признал эту жажду законной и с поразительной смелостью провозгласил, что ее, этой жажды, совершенно достаточно для руководства человека на земле. Для этого надо было отрешиться от всех средневековых понятий, разрушить сословные перегородки, вытравить из мышления все следы влияния церкви. Ведь церковь, несмотря ни на что, продолжала твердить, что “блаженны неимущие”, что не в земных радостях человек найдет осуществление лежащей перед ним жизненной задачи.

XVIII век реабилитировал человека и его тело. Он подорвал веру в Бога и загробную жизнь, он смеялся над бессмертием души, он учил, что человек есть цель в самом себе, что любовь к себе – его существенный руководитель, что счастье – не более чем сумма наслаждений.

С таким учением и такой философией европейское мещанство выступило на историческую сцену. Героический период его юности продолжался недолго. Уничтожив в заседаниях Национального собрания политическую силу аристократии и духовенства и поставив себя на их место, оно увидело перед собой все двери открытыми, все дороги доступными, все перегородки разрушенными. Заимствованную философию оказалось возможным применить к делу. Но это была не просто

заимствованная философия, не та, которую можно прочесть у Вольтера, Руссо, Кондильяка, Гельвеция, а философия упрощенная, разменная на мелкую ходячую монету.

Когда Дидро или Кант формулировали свое нравственное учение в словах “человек – цель в самом себе”, понимая под этим, что все в жизни должно служить человеческому счастью, что людей нельзя приносить в жертву ни Молоху государственности, ни интересам папского престола, что человеческая личность должна пользоваться уважением как таковая, без внимания к ее общественному положению, ее капиталам и доходам, – они с отвращением должны были видеть, как была понята их формула европейскими мещанами. Понята она была по упрощенному способу с дерзким пренебрежением к логике и самым элементарным нравственным требованиям. Если я – цель в самом себе, то все, даже *другие люди*, должны служить мне и моему счастью. Было совершенно забыто, что и другие люди – тоже цель в самих себе. Но европейский буржуа начала века присвоил себе монополию человечности. Он рассуждал, как Панург: “Всеобщая добродетель – вещь поистине превосходная, особенно если останется на свете один мошенник, и этот мошенник буду я...”

С этой поры все усилия европейского мещанства направились к тому, чтобы сохранить за собою “монополию человечности” и не допустить к участию в ее благах никого другого. Эта цель преследовалась великолепно, систематически, повсюду. Она вдохновляет и кодекс Наполеона, и июльскую конституцию, и жизнь второй империи. В период с 1830-го по 1848 год она безусловно царила в жизни. “Французское правительство с его королем, законодательным корпусом, министрами, армией чиновников превратилось в одну громадную промышленную компанию”. В Англии было то же самое.

Спекуляция появилась на сцене специально для того, чтобы дать действительную, реальную почву этой монополии человечности. Ведь знаменитая формула “человек – это цель в самом себе” понималась очень просто. Раз нет сдерживающего начала в жизни, раз сословные перегородки разрушены, раз все мое счастье – в земных наслаждениях, то я должен искать этих наслаждений, искать их, не останавливаясь ни перед чем. Но все земные наслаждения – любовь, власть, роскошь – я могу приобрести за деньги. Следовательно, нужны деньги, деньги прежде всего.

Труд, капитал, земля и торговля – все эти источники добывания денег, завещанные прежней европейской жизнью, оказались недостаточными. Они были прекрасны в век шоссейных дорог, парусных судов, – в тот век, когда проповедь религии о блаженстве нищеты не была еще забыта совсем.

Но новые условия жизни потребовали более быстрых средств обогащения и сделали их возможными.

Спекуляция существовала всегда, но только наш век дал ей достойное применение и поставил ее на первый план. Я позволю себе напомнить, как восторженно приветствовали ее, и не кто-нибудь, а люди, несомненно, проникательные, в данном случае Прудон. Нарастание миллионов, более быстрое, чем размножение микробов, поразило и его. Он не описывает нам спекуляцию, он дает нам ее панегирик, ее пиндаровскую оду:

“Еще выше труда, капитала, торговли или обмена в их многочисленных видах стоит спекуляция. Спекуляция есть не что иное, как умственная работа и изыскание различных способов, с помощью которых труд, капитал, кредит, перевозка и обмен вступают в область производства. Это она отыскивает и открывает, так сказать, гнезда и источники богатства; она изобретает самые лучшие, дешевые средства из добычи, она их умножает как путем новых способов кредита, передвижения, обмена и оборота, так и с помощью порождения новых потребностей, непрерывного, широкого распространения капиталов и приложения их... Спекуляция – гений открытий...”

Хотите видеть, как действует этот гений открытий? Прудон не скупится на примеры:

“Оптовый торговец вин вместо того, чтобы их продать за наличные деньги, сохраняет свой товар в погребе до момента, когда, по состоянию виноградников, благоприятному или неблагоприятному, возможно будет определить урожай будущего года. Наступает мороз, задерживающий разрастание лоз, град их уничтожает, постоянные дожди портят их вконец – вино значительно подымается в цене. Что же это означает? Потребление будущего года, по необходимости, придется удовлетворить урожаем текущего, и спекулянт взялся это исполнить своими запасами. Он ведь этим делает услугу обществу, а сам обогащается: сбережение им вин является для всех производством. Возьмем противоположный случай: урожай виноградников обещает быть обильным и превзошел в действительности лучшие ожидания – цена вин понижается наполовину. Торговец теряет столько же, сколько он рассчитывал выгадать. Что же случилось? Торговец, не совершив продажи, уничтожил не половину вина, сбереженного им в погребе, а лишь половину ценности этого вина. Без сомнения, можно пожалеть о том, что население подверглось произволу спекулянта, – это другой вопрос, но в этом случае последовало уничтожение ценности в такой лишь мере, в какой в первом случае последовало производство ценности.

Владелец корабля в Марселе получил из Одессы коносамент на отправленный хлеб, имеющий прибыть через месяц. По случаю неурожая зерновые продукты поднимаются в цене: перевозка продуктов – производство. Ко времени, когда корабль прибыл к порту, хлеб был продан из рук в руки пять или шесть раз, всегда с барышом; разделение прибылей – производство. В промежуток времени выгрузки товара правительство понижает таможенные пошлины на хлеб, и цена его падает на 10 %. Сделка оказывается убыточной для последнего спекулянта, который слишком рискнул, и он один платит за всех: уничтожение ценности в его руках, а вместе с этим спекулятивная производительность для всех его предшественников.

Спекуляция, таким образом, является, собственно говоря, гением открытий. Она изобретает, делает нововведения, совершает запасы, разрешает трудные задачи и, наподобие бесконечного ума, создает из ничего *ничто*. Труд, капитал и торговля исполняют ее приказания. Она – голова, те – органы; она идет впереди, те же следуют за нею”.

Что Прудон путается в вопросе и смешивает две совершенно различные вещи – это очевидно. Между спекуляцией как гением открытий, изобретающей новые пути обогащения, пускающей в оборот капиталы и труд, и спекуляцией, вся сущность которой сводится к перекладыванию денег из одного кармана в другой (например, игра на фондовой бирже), – громадная разница. Но она для нас не важна в настоящее время; нам важен лишь панегирический тон Прудона – это отражение юношеской силы и самонадеянности европейского мещанства, указание на громадную жизненную роль спекуляции в нашем столетии.

На самом деле, в течение ста лет спекулировали на всем: акциях, кредитных билетах, земле, жизненных продуктах, приисках и промыслах. Спекуляция создала могущественный класс европейских и американских миллиардеров, разрушила старое производство, разорила миллионы и обогатила десятки и сотни людей.

Девятнадцатый век бросался из одной спекуляции в другую. Он развил биржевую игру до той степени азартности и до таких размеров, что проигрыши и выигрыши миллионов в течение двух-трех часов стали обычным явлением. Он спекулировал на железных дорогах и на земле. Американские миллиардеры созданы главным образом железнодорожной и земельной спекуляциями; европейские – фондовой и железнодорожной...

Какая роль предстоит миллиардерам в будущем, станут ли они властителями вселенной, как предсказывает Буажильбер, или они не выдержат злобного натиска своих врагов – мы не знаем. Мы не можем даже

предсказать, чем закончится борьба, которую они ведут между собой. Явят ли они миру пример сердечного единения, или же среди Гульдов, Ротшильдов, Асторов, Пульманов народится один Гульд, один Ротшильд, который поглотит других Гульдов и Ротшильдов, – дело будущего. Не предаваясь гаданиям, мы займемся более скромным вопросом – какая роль миллиардеров и спекуляций в наши дни?..

Грандиозная сила миллиардеров несомненна. Это – сила денег, сила соблазна земных наслаждений, против которой, по-видимому, беспомощен современный нервно-возбужденный, наследственно надтреснутый человек. Присмотритесь к литературе. О чем говорят нам бесчисленные романы Бальзака, Флобера, Мопассана, Золя?.. В сущности, как однообразна и монотонна их песня...

Бальзак первым из беллетристов понял, какую роль играют деньги в наши дни. В золоте и банковых билетах, так сказать, сосредоточилась вся сила, все могущество исчезнувшего католико-феодального строя. Энергия рыцаря и средневекового аскета сменилась энергией биржевика; Ротшильд заступил место папы и предписывает свои условия и даже законы светским государям. Порождение спекуляции, современные банкиры играют более могущественную роль, чем епископы и аббаты десять веков тому назад. Повторяю, Бальзак это понял и высказал с откровенностью и дерзостью гения. Публика была удивлена, когда увидела в его романах тщательное перечисление доходов и расходов действующих лиц. Она удивилась еще больше, когда с грубостью естествоиспытателя великий романист свел всю душу современного человека к жажде наживы и земных плотских наслаждений. Он не нашел в этой душе ни Бога, ни чести, ни чувства собственного достоинства. Страшной иронией, в сущности, звучит общее заглавие его произведений: “Comedie de la vie humaine” – “Комедия человеческой жизни”. Там нет людей, там на сцене кровожадные звери, алчные и похотливые, без стыда, совести, без привязанности к чему бы то ни было, кроме радостей тела.

Читая Бальзака, удивляешься, допуская даже мысль, что он преувеличивает зло и смотрит на жизнь со слишком узкой и односторонней точки зрения, – невольно удивляешься, чем и как держится описанное им общество, где цемент, не позволяющий ему рассыпаться? Этот цемент – *bellum omnium contra omnes* – война всех против каждого каждого против всех, разнузданная конкуренция, вихрь наживы и искания успеха. Ведь вихрь, собирая в пустыне или на море смерч, придает ему определенную форму.

В психологии личностей Бальзак точно так же, как и вся его школа, то

есть школа современного натурализма, одинаково держится точки зрения чистого пессимизма и отрицания. Я уже заметил раньше, что в своих героях он не видит ничего положительного. Любимой его темой является изображаемый им с жесткой правдивостью процесс опошления и оподления юноши, в сущности недурного и небезнравственного. Юноша приезжает в Париж, и омут жизни немедленно начинает затягивать и засасывать его. Он видит, что нет дружбы, любви, честности, что повсюду господствует расчет, самый низкий и грубый. Он убеждается, и очень скоро, что ничто так не удастся, как успех, и что сила современной жизни – сила денег. Что может он, одинокий, с развинченными нервами, противопоставить ей? Он и не противопоставляет ей ничего. Его соблазняют ярко освещенные рестораны, шелест шелковых юбок, улыбка накрашенных губ; вихрь жизни, наполненной жгучими наслаждениями, – жизни, проходящей на балах, в альковах будуаров, за безумными пирушками. Сладострастие, зависть кипят в нем, жгут его, и, махнув рукою на все, он отдается первой кокотке и продает себя первому банкиру.

Судьба бальзаковского юноши – судьба целых поколений. Только проследив и только поняв эту безумную жажду наживы, успеха, наслаждений, этот бесконечный вихрь спекуляций, ослепляющий и оглушающий людей, этот соблазн сладострастного разврата и одурь, производимую им на развинченные нервы усталого поколения, – вы поймете всемогущую власть денег и Ротшильдов в наши дни.

Глава I. Дом № 152 на Еврейской улице

Во Франкфурте-на-Майне – старинном немецком городе, где многие дома, кривые улицы и узкие, грязные переулки помнят еще величие и славу Священной Римской империи и те времена, когда имя Пруссии не значило ничего, – путешественникам и теперь показывают дом под № 152, сообщая при этом, что здесь 150 лет тому назад (в 1743 году) родился и жил Майер-Амшель Ротшильд, основатель могущественного банкирского дома того же имени. Во внешности дома № 152 ничего особенного нет, и вся его оригинальность заключается лишь в том, что он очень высок и узок; главное же – в исторических воспоминаниях, связанных с ним. Без всякого преувеличения можно сказать, что под этой крышей, крытой черепицей, за этими длинными, узкими окнами не раз решалась участь войны или мира, судьбы министерств и даже целых династий. “Власть денег” заставляла не раз государственных людей Европы задумываться над тем, как отнесутся к их проектам банкиры Ротшильды на Judenstrasse, и сколько бессонных ночей провели финансисты всех стран и народов, не зная, выйдет ли им приговор или помилование от владельцев “Старого Дома”.

“Перед этим капищем всемогущего золота, – писал некогда Карлейль, – современный культурный европеец не может не почувствовать своеобразного трепета. Здесь все то, что он на жаргоне нашей лживой цивилизации зовет своим счастьем, могуществом и даже кумиром, находится в неизмеримом количестве в виде груд блестящего золота и пачек банковых билетов, то захватанных жадными руками, то чистых и свежих, точно только что обмундированные солдаты, готовые ринуться в “битву мира”, разнося всюду зависть, вражду, соревнование и минуты призрачных, но жгучих наслаждений... Да, Ротшильд – и полководец, более могущественный, чем Цезарь и Александр; золотые монеты и груды банковых билетов – его армия, победоносно обходящая весь мир, все подчиняющая своей власти, всюду ненавидимая и всюду устрашающая...”

Однако начало этого поразительного величия было более чем скромно, и, чтобы ознакомиться с ним, надо перенестись в прошлые века, в обстановку грязного еврейского квартала, застроенного лачугами и покривившимися домами, – квартала, вызывающего омерзение у всех христиан или тех, кто так себя называл...

Предки Ротшильдов с незапамятных времен жили во Франкфурте, ничем не выделяясь из среды своих соотечественников и разделяя с ними

их участь, самое отдаленное знакомство с которой не может не поразить даже мало впечатлительных людей. Поселившись во Франкфурте около 1240 года, евреи получили отдельное место для жительства и отдельные законы. Они считались рабами императора и должны были выплачивать большие налоги, обыкновенные и экстраординарные, присоединяя к ним крупные суммы в пользу сборщиков податей. Как рабов, их могли продать, заложить и вообще поступить с ними, как с вещью или товаром. Еврейский квартал был обнесен валом, в замке которого находились тяжелые железные ворота, отворявшиеся лишь в определенные часы. В этой-то “черте оседлости” обязаны были жить все исповедовавшие иудейскую веру, пользуясь свободой передвижения лишь внутри своих стен. Гете застал еврейский квартал еще таким, каким тот был в средние века, с “...домами, тесно прижатыми один к другому, точно листы переплетенной книги, набитыми снизу до крыши обитателями, жившими среди грязной, неопрятной, отвратительной обстановки. Воздух в квартале был так заражен миазмами, что лишь привычные люди могли дышать этой зловонной атмосферой”. Еврейская улица, в настоящее время совершенно перестроенная, представляла из себя в дни Гете узкий грязный переулок с полуразрушенными домами, с толпой неряшливых евреев, вечно кричавших, споривших, суетившихся. Можно же себе представить, что тут было раньше в темноте средневековой жизни!

Отделенные от христиан валом, евреи в отношении к себе видели лишь всеобщее презрение и ненависть. Обычным их прозвищем было слово *собака*, к чему для большей выразительности прибавлялись еще эпитеты “поганая” или “проклятая”. Антиеврейские беспорядки происходили постоянно, и первая бойня, учиненная христианами ненавистным “жидам”, относится уже к 1241 году, когда погибло 180 человек последних. Средневековая нервно-настроенная и малодисциплинированная толпа жадно хваталась за каждый повод, чтобы ворваться в еврейский квартал и учинить там более или менее энергичную расправу. Стоило распространиться слуху, что евреи зарезали христианского ребенка для своих таинственных обрядов или что они отравили воду в колодцах – причем эта последняя клевета аккуратно появлялась на сцену при каждой эпидемии – как франкфуртские граждане бросались на своих врагов и избивали их, никогда не ощущая раскаяния. В XV веке по отношению к евреям были изданы поистине драконовские постановления. Так, ворота квартала должны были оставаться запертыми в течение всех воскресных дней; ни один еврей не смел проходить мимо церкви, дотронуться до чего-нибудь на рынке, купить рыбу раньше

известного часа дня, нанять христианина к себе в услужение, назвать себя гражданином, торговать новым платьем и тому подобное. Дело дошло даже до того, что евреи были обязаны носить особенную одежду, резко отличавшуюся от обыкновенной. Но особенно строги были постановления относительно брака. Желая предупредить быстрое размножение ненавистного племени, франкфуртский городской совет ежегодно определял число браков, которые могли заключать между собой евреи; многие так и не успевали дожидаться очереди и умирали холостыми. В 1614 году их совершенно изгнали из города и разрешили вернуться лишь спустя два года. Только XIX век даровал им равноправие: евреи живут, где хотят, заключают браки совершенно свободно и вообще ничем не отличаются по своему политическому и общественному положению от христиан. Для Франкфурта равноправие имело то последствие, что в 1811 году на весь город насчитывалось 109 еврейских домов с 2100 жителями, теперь же число франкфуртских евреев более 14 тысяч человек.

Уже по этим немногим данным читатель может вообразить, какие чувства должны были накопиться в душе еврея и какие свойства характера выработал он в себе. За валом своей черты оседлости, в промозглой атмосфере своего квартала, он, как Шейлок, выносил в сердце неизмеримую ненависть, говоря своим врагам: “Вы называете меня неверующим, разбойником, собакой, плюете на меня и сами приходите ко мне с просьбами...” – и в то же время внешнюю лицемерную приниженность, готовую, однако, ежеминутно, при малейших благоприятных обстоятельствах, превратиться в мстительную злобу и наглость торжествующего ростовщика. Правильного труда он не знал, не чувствовал к нему особенной склонности и не видел особенной пользы от него. В самом деле, чем занимались в течение целых столетий две тысячи франкфуртских евреев? По постановлениям городской думы видно, что любимыми их промыслами была торговля старым платьем, старинными монетами, а главное – ростовщичество. Операции последнего рода производились с такою бесцеремонностью, что евреям не раз грозили самыми ужасными наказаниями, если они будут продолжать ссужать кредитом женщин и малолетних. Но ростовщичество все же процветало и так запутывало население, что дни антиеврейских беспорядков были, в сущности, единственными днями полной расплаты по векселям “со всеми причитающимися процентами”, как жестоко острит одна хроника того времени. Ростовщичество в форме залога, денежных ссуд, торговли обязательствами и векселями было главным или, в крайнем случае, побочным занятием каждого еврея; в его-то промозглой атмосфере и

сложилось дикое правило, что деньги – это все. “Когда ты ненавидишь человека, – учит один раввин, – давай ему деньги в долг: когда ты желаешь ему отомстить – предъяви ко взысканию свой вексель”. Для евреев деньги на самом деле были всем: они заменяли им права, и порою даже самые элементарные человеческие права; они давали им истинное могущество, заставляли бояться их, ухаживать за ними и даже унижаться перед ними – раз нельзя было их прямо ограбить. “Презренный жид, добрейший Соломон”, – говорил рыцарь, нуждаясь в деньгах.

В этой-то неряшливой, возбуждавшей общее презрение толпе франкфуртских евреев в продолжение целых веков скрывались предки Ротшильдов – теперь баронов, членов парламента и пэров королевства. Мы не знаем ни их имен, ни даже истинной фамилии. Ротшильд – просто прозвище, буквально означающее “красная вывеска” (Rothschild), происшедшее от того, что на доме, где жили деды и прадеды банкиров, действительно была таковая.

Первым историческим лицом из дома Ротшильдов является Амшель-Моисей, живший в первой половине XVIII века во Франкфурте-на-Майне, по Юденштрассе, в доме № 152. К сожалению, мы почти ничего о нем не знаем, кроме того, что он торговал всякими редкостями, особенно старинными монетами, и жил в высшей степени скромно, твердо держась правила: “Богатство человека не в том, что он получает, а в том, что сберегает”. Это правило бароны Ротшильды смело могли бы написать на своем гербе.

Об Амшеле-Моисее сохранилось несколько анекдотов, не заслуживающих впрочем доверия и не характерных даже как выдумка. Мы их оставим в стороне и перейдем к сыну Моисея – Майеру-Амшелю, рождение которого относят обыкновенно к 1743 году.

Майер-Амшель рано, двенадцати лет от роду, остался круглым сиротой и поступил под опеку своих родственников. Те, основываясь на предсмертной воле родителей, пожелали сделать из него раввина и отправили в Фюрт, где была в те дни знаменитая синагога. Здесь Майер должен был заниматься богословием и Талмудом, но природные инстинкты сразу потянули его в другую сторону: ему хотелось дела, настоящего жизненного дела, и к схоластическим тонкостям ученых раввинов он относился с полным равнодушием. В старом доме под № 152 он привык вместе с отцом разбирать старые золотые монеты и надписи на них, любил их блеск, само искусство, связанное с куплей и продажей, и твердо решил, что будет торговцем, а не раввином. Уже в школе он открыл крошечную меняльную лавку и удачно вел свои операции на деньги,

получаемые им для покупки лакомств. Между прочим, ему удалось приобрести несколько редких монет и выгодно сбыть их. Он составлял также различные антикварные коллекции и тоже пускал их в оборот, быстро приобретая себе среди товарищей репутацию славного финансиста.

Несколько лет вялых занятий Талмудом и ловких операций окончательно убедили Майера, что он будет хорошим купцом и плохим раввином. После этого он перестал колебаться и, не спросив ни у кого разрешения, вернулся во Франкфурт, на грязную еврейскую улицу, где и поселился в собственном доме. Дело, так удачно начатое им еще в школе, он продолжал и здесь, постепенно расширяя радиус своих операций. Он занимался всем, что попадало под руку, не брезгуя даже грошовым барышом. Но, разумеется, для его деятельной, энергичной природы занятий в меняльной лавочке с редкими вексельными операциями было недостаточно. Однако риск не был в его натуре: он умел выжидать, и на самом деле скоро дождался довольно удачного совпадения событий.

В то время, во второй половине XVIII века, банкирское дело развилось почти до той же организации, какую мы видим в наши дни. Банкирские конторы, биржи, акционерные предприятия находились повсюду, привлекая на поприще своей деятельности одаренных в этой области людей. Дела с “бумажными деньгами”, несмотря на сдерживающую политику правительств, с каждым днем становились все более смелыми, открывая уже грандиозные, почти феерические перспективы, осуществить которые удалось, однако, лишь нашему прославленному положительному веку.

Приобретя во Франкфурте репутацию “честного жида”, Майер Ротшильд определился на службу к банкирской конторе Оппенгейма в Ганновере, куда и переехал. Энергичный, деятельный, знающий, хотя и молодой, Майер не остался в тени; быстро повышаясь, он всего через несколько лет был принят в товарищи фирмы. Успех, однако, не вскружил ему голову. Он не расстался со своими скромными привычками, избегал всяких соблазнов и, по завету отца, копил деньги. Ни на минуту не покидала его завлекательная мечта открыть собственную контору и начать собственное дело. Силы он ощущал в себе громадные, но денег было недостаточно, и Майер, не торопясь, откладывал рубль за рублем, пока не сказал себе: “Теперь пора”.

Глава II. Франкфуртский банкир Майер Ротшильд

Оставив Ганновер и фирму Оппенгейма, Майер опять возвратился во Франкфурт и, имея уже значительный опыт, принялся “делать деньги”, постепенно специализируясь на чисто банковских операциях. Около этого же времени, в 1770 году, он женился на Гедуле Шницце, еврейке. Получил ли он какое-нибудь приданое – неизвестно; как бы то ни было, его дело разрасталось, хотя этот рост все еще не представлял из себя ничего поразительного. Каким же путем Майер Ротшильд через несколько лет, точно по доброму слову сказочной волшебницы, стал вдруг миллионером и захватил в свои руки почти весь европейский денежный рынок? Послушаем, что говорят об этом другие:

“Все спекуляции Майера отличались осторожною смелостью и потому сопровождались успехом. Во всех своих сделках он выказывал такую честность, такое прямоту, что его не только во Франкфурте, но и в соседних провинциях стали называть “честным жидом”, вследствие чего дела его расширялись и умножались. Даже сам прежний хозяин его Оппенгейм гордился успехами своего бывшего приказчика и при каждом удобном случае рекомендовал всем с наилучшей стороны франкфуртского банкира Майера-Амшеля Ротшильда”. Во время своих занятий у Оппенгейма Майер познакомился с генерал-лейтенантом бароном Эсторфом, близким другом ландграфа гессенского Вильгельма IX, частное состояние которого достигало 56 млн. рублей. Когда Ротшильд приобрел своими операциями лестную для себя известность, Эсторф, руководствуясь своим опытом и отзывом Оппенгейма, рекомендовал ландграфу Ротшильда как человека, который может быть его финансовым агентом. Ротшильд получил приглашение явиться к ландграфу. Войдя к нему в комнату, он застал его погруженным в шахматную игру с бароном Эсторфом, который выигрывал партию. Ротшильд, не мешая игрокам, стал в стороне, но внимательно следил за их ходами. Наконец ландграф, прижатый к стене искусною игрою своего противника, в отчаянии опрокинулся на спинку кресла и, увидав банкира, спросил его: “Вы умеете играть в шахматы?” – “Не угодно ли вашему высочеству передвинуть вот эту штучку?” – отвечал банкир, указывая вместе с тем и ход в игре. Вследствие этого совета успех перешел постепенно на сторону ландграфа, и он выиграл партию. Тогда он

разговорился с Ротшильдом о цели его прихода и остался очень доволен его умом и сведениями, им сообщенными. После этого свидания Майер Ротшильд был назначен придворным банкиром ландграфа гессенского. По уходе его ландграф обратился к Эсторфу и сказал:

– Нет сомнения, вы мне рекомендовали не дурака.

Из многочисленных версий этой темной и все еще таинственной истории я привел самую простую и вероятную. Секрет поразительно быстрого превращения “честного жида” в обладателя миллионов, однако, все еще остается неразъясненным, и несомненно лишь то, что при каких бы то ни было обстоятельствах миллионы гессен-кассельских ландграфов перешли в распоряжение Майера Ротшильда, и он сумел распорядиться ими как нельзя лучше. Если те деньги, которые он получил от отца и приобрел собственными меняльными операциями, можно сравнить с долотом, стамеской и вообще какими-нибудь ручными инструментами, то, увидя в своей кассе гессен-кассельские миллионы, он стал владельцем совершеннейших паровых машин: прежнее ремесло обратилось в громадную фабрику, где вместо грошей вырабатывались сразу целые партии денежного товара – тысячи и сотни тысяч золотых монет.

Майер Ротшильд называл себя торговцем деньгами. Одно из первых правил его деятельности гласило: “Не надо давать деньгам залеживаться; когда только возможно, пускайте их в оборот, и чем большей массой вы их пустите в оборот, тем лучше: 100 талеров не в сто раз “сильнее” одного талера, а в тысячу”. Но чтобы пускать деньги в оборот, надо их иметь, и все таланты Майера, вся его блестящая репутация честного и ловкого финансиста не сделали бы ничего особенного без гессен-кассельских миллионов.

За ними появились другие. В то время у частных лиц в подвалах, в сундуках, в тайниках церквей и монастырских келий хранилось несметное количество залежавшихся денег, золотых и бумажных, особенно золотых. Редкий человек знал, что делать с ними. Большинство, по обычаю средних веков, сидело над блестящими грудями своих цехинов и талеров и лишь любовалось их соблазнительным блеском. Но мысль о том, что залежавшиеся деньги надо пускать в оборот, крепла в голове не одного только Ротшильда. Припомните, какая горячка овладела публикой, когда в начале прошлого века банкир Ло открыл свои операции в Париже и стал менять золото на бумажные ценности, выдавая при этом премию. Богатые и бедные, мужчины и женщины, принцы крови и скромные буржуа потянулись в роскошный дворец искусника, неся свои металлические сбережения и выходя оттуда с банковыми билетами в кармане. Никто не

спрашивал себя, что происходит в действительности и как это возможно без всякого труда и усилия получить за 20 франков 25 или 30. Грандиозная беспроигрышная лотерея, открытая Ло, привлекала всех, суля быстрое обогащение, встряхивая и раздражая нервы. Ло сорвался, но те, кто сумел на этом скользком пути проявить больше сдержанности и осторожности, оказались победителями.

Сдержанность же и осторожность были лучшими достоинствами Майера Ротшильда. Ведя грандиозные операции, он всегда доставлял барыш себе и своим клиентам. С удивительной чуткостью он понял, где и на чем можно заработать наверняка, имея кредит и деньги. Он ступил на тот путь финансиста, который вел не только к барышам, но и к политическому значению, он принялся устраивать займы для государств в неслыханных до той поры размерах: гессен-кассельские миллионы, очутившись в его руках, не залеживались. Серия займов началась уже в 1804 году, – тогда Ротшильд одолжил датскому правительству 4 миллиона талеров; ко дню же его смерти долг одного только датского правительства, после новых займов у того же Ротшильда, возрос до 12 миллионов.

Вернее подобного рода финансовых операций, по мнению самого Майера-Амшеля, нельзя и вообразить ничего, с той, разумеется, оговоркой, что не всякое правительство заслуживает кредита, тем более безграничного. Но, ссужая государства деньгами “в пределах благоразумия”, Ротшильд не рисковал ничем. Кроме крупного куша, за комиссию, от 0,5 до 1,5 % со всей суммы, он получал еще и по 6 % годовых с выплаченных им денег. Итак, каждый миллион займа приносил ему ежегодно 60 – 70 тысяч.

К сожалению, мы не имеем возможности подробно описать финансовые операции первого Ротшильда: все совершалось втихомолку, и лишь немногие факты сделались достоянием публики. Наследники же Майера-Амшеля не хотят сообщать ничего иоднажды на настойчивые вопросы одного любознательного корреспондента отвечали следующим категорическим образом: “Господа Ротшильды крайне сожалеют, что не могут сообщить *никаких данных* об операциях основателя фирмы, так как не сохранилось документов о совершенных им займах и других финансовых операциях, а также не могут доставить и его фотографии по той причине, что он никогда не снимал с себя портретов...” Тем не менее портрет его нашелся, и мы прилагаем его при нашем очерке.

Майер-Амшель умер в 1812 году, не переставая заниматься своими делами вплоть до жестокой предсмертной болезни. Имея представителей своей фирмы во всех важнейших городах Европы, он сам жил безвыездно

во Франкфурте, в старом доме, у подъезда которого нередко останавливались кареты министров и даже коронованных особ. Посетителей же вообще было бесчисленное множество, и Майер выслушивал каждого из них лично. Между собой и своими делами он не терпел никаких посредников, сам просматривал все счета, обсуждал все комбинации. Своими миллионами он пользовался более чем умеренно, жил замкнуто и проводил большую часть времени в семье, среди своих сыновей, внуков и внучек – довольно многочисленных. Каждый день после обеда он отправлялся на прогулку, выбирая почти всегда одни и те же улицы. Между прочим, у него было правило помогать каждому встретившемуся по дороге бедному, что доставило ему огромную популярность среди франкфуртской нищеты. Но особенно могли ликовать по поводу его успехов евреи. Пользуясь своим значением при дворе ландграфа, он постоянно защищал их интересы и даже выхлопотал им равноправие с христианами. Но и в этом деле он поступал с обычной своей сдержанностью: он терпеливо выжидал момента и затем бил наверняка; даже еврейская конституция появилась лишь за год до его смерти. О его проницательности ходят совершенно легендарные слухи. Уверяют, например, что он никогда не верил в продолжительность наполеоновского могущества, говоря на своем финансовом жаргоне: “Акции императора стоят гораздо ниже, чем за них платят”. В то же время он постоянно вел упорную, хотя и невидимую, борьбу с Наполеоном – на родном своем поприще, разумеется. Он поддерживал займами правительства, враждебные французскому, например, Данию, Кассель, Австрию; крупнейшие дела он вел с Англией – этим главным врагом Наполеона. Неужели же у него были политические симпатии, неужели “честный жид”, выбравшийся из мути и грязи франкфуртского еврейского квартала и достигший положения миллионера, почувствовал какую-нибудь и особенную симпатию к тому или иному христианскому правительству? Едва ли. Майер-Амшель мог любить Франкфурт, как свою родину, как постоянного свидетеля своих успехов, мог чувствовать благодарность к ландграфам гессенским, поставившим его на ноги, но чем был для него остальной мир? – Ареной борьбы, куда он высылал своих солдат – миллионы, ежедневно убеждаясь, что их могущество не меньше, чем могущество настоящих армий.

Рассказывают, что однажды Майеру-Амшелю, незадолго до его смерти, задали такой вопрос: “Скажите, что заставляет вас так усиленно работать, особенно теперь, когда вы и ваша семья более чем обеспечены?” На это первый Ротшильд серьезно отвечал: “Всякий должен делать свое

дело, и я делаю его”. Он совершенно прав: всю жизнь делал он свое дело без горячности, без безумного риска, не увлекаясь неверной игрой или грандиозными спекуляциями. Если бы баловница-судьба не дала ему в руки гессенских миллионов, он все равно бы просидел всю жизнь за конторкой, выплачивая и получая десятки и сотни вместо тысяч. Он делал дело и только, – и его приходно-расходные книги велись бы одинаково аккуратно при любых обстоятельствах жизни.

Без всякого труда признаю я за первым Ротшильдом выдающиеся, скажем даже, исключительные финансовые таланты, его настойчивость, терпеливость, умение, выждав минуту, бить наверняка. Но, повторяю, я сомневаюсь, чтобы фирма Ротшильдов стала тем, чем она есть, не явись на сцену эти могучие кассельские 56 миллионов талеров золотом. В биографии Майера-Амшеля они занимают видное и даже исключительное место, почему, не выходя за пределы своей задачи, мы можем посвятить и их “биографии” хоть несколько строк.

Вот что рассказывают о их происхождении:

“Богатство ландграфов гессенских, значительное вообще, достигло невиданных размеров в середине XVIII века. Когда в 1785 году умер ландграф Фридрих II, он оставил своему наследнику наличными деньгами 56 млн. талеров. Каким путем ландграф скопил эту сумму, несмотря на роскошную жизнь, в которой он старался подражать Людовику XIV и его правнуку? Все свои деньги он получил из Англии, отдавая ей внаем или, вернее, продавая своих подданных. Так, в 1775 году он набрал у себя 12 800 рекрутов, которые были посланы для усмирения американских колонистов в Северные Штаты. По той же дороге вскоре отправились еще 4 тысячи гессенских солдат. Английское правительство жизнь 16 тысяч человек оценило в 22 миллиона, которые и были выплачены ландграфу. Сын Фридриха II, ландграф Вильгельм IX, держался политики своего отца, и новых 16 тысяч человек его подданных должны были покинуть родину и ехать воевать с Наполеоном: одни – в Испанию, другие – в Рим, третьи – в Египет. На сколько миллионов обогатилась гессенская касса в этом втором случае – неизвестно, но ведь Англия золота не жалела никогда”.

Любопытно, что в 1806 году Наполеон после тильзитского свидания издал такой декрет: “Ввиду того, что ландграфы гессен-кассельские проявили отвратительную скупость, продавая своих подданных английскому правительству, и скопили таким образом громадное состояние, – объявляем, что владетельный дом ландграфов гессен-кассельских перестает существовать”.

Но реставрация восстановила ландграфов во всех их правах, а,

благодаря Майеру-Амшелю Ротшильду, гессен-кассельские солдаты, постыдно проданные чужой стране и разбитые в Америке, Египте, Испании, Италии, одержали после смерти блестящую победу над рынком Европы.

Глава III. На дороге к всемирному владычеству

Умирая, первый Ротшильд позвал всех своих сыновей – Ансельма, Соломона, Натана, Карла и Джеймса – к постели и завещал им оставаться верными закону Моисея, действовать всегда сообща и не предпринимать ничего, не посоветовавшись предварительно с матерью. “Соблюдайте это, – сказал умирающий, – и в скором времени вы станете богачами среди богачей”. Этими словами старик распростился с жизнью. Его завет соблюдался свято, с той верностью семейной традиции, которая характеризует евреев. Сыновья пошли по дороге отца и даже превзошли его. Они также делали дело, но несколько иным способом, чем первый Ротшильд. Как мы только что видели, их было пять человек; они разделили между собою мировое господство, и через немного лет после сцены у изголовья умирающего Майера Ансельм распорядился биржей Германии, Натан – Англии, Соломон – Вены, Карл – Неаполя, Джеймс – Парижа. Но прежде чем перейти к характеристике молодых Ротшильдов, скажем несколько слов о судьбе их матери: она этого заслуживает. Гедула Ротшильд на целых 37 лет пережила своего мужа и умерла 96-летней старухой в 1849 году. Несмотря на скучную и тяжелую обстановку старого франкфуртского дома, она не покидала его вплоть до самой смерти. Никакие убеждения докторов и сыновей не могли заставить ее расстаться с местом, которое было свидетелем ее молодости, семейного счастья, успехов ее мужа, вознесших ее на такую невиданную высоту. Она даже приказала возобновить старинную красную вывеску, от которой произошло само прозвище Ротшильдов. Что-то мистическое соединялось в ее представлении со старым домом, и она верила, что успех ее семьи обеспечен, пока старый дом будет ее центром. На самом деле он и был таковым все время, и остается им даже в наши дни. При жизни старой Гедулы сюда съезжались для совместного обсуждения миллионных проектов все пять сыновей и делали это в присутствии матери. Она не вмешивалась в их прения, и каждый раз ее роль ограничивалась лишь напоминанием заветов отца: не изменять иудейству и действовать всем сообща. Несмотря на преклонный возраст, она сохранила физические силы вплоть до последней минуты и девяноста лет от роду ежедневно бывала еще в театре, где просиживала весь спектакль от начала до конца,

осыпанная бриллиантами и драгоценными камнями. Романист мог бы взять символом величия Ротшильдов эту сильную, живучую старуху, с ее вечно юной верой в могущество иудейского закона, с ее упорной привязанностью к старому мрачному дому, где все напоминало о силе и власти, сменивших еще недавнюю приниженность и бедность... “Здесь, в старом небольшом доме, – пишет Гейне, – живет достойная женщина – Летиция, давшая жизнь стольким Наполеонам биржи. Она, великая мать миллионных займов, несмотря на всемирное могущество своих царственных сыновей, ни за что не хочет покинуть своего маленького, но дорогого места на еврейской улице... Сегодня, в праздничный день, окна ее жилища украшены белыми занавесками. Как приветливо горят ее же дряхлой рукой зажженные свечи по случаю 18 октября, в память того торжественного дня, когда иуда Маккавей вместе со своими героями-братьями дал свободу родине”.

Но освобождение еврейства при помощи ротшильдовских миллионов – мечта поэта. Мы оставим его предаваться утопическим грезам и, распростившись со старой Гедулой, обратимся к ее сыновьям.

Идя по стопам отца, они так же умело и энергично, как он, пользовались смутным положением Европы. Война продолжалась уже двадцать лет (1792 – 1812); торговля почти прекратилась, молодое население стран находилось на полях сражений и в лагерях. Европа как бы переживала новое великое переселение народов, но уже с Запада на Восток, и это новое великое переселение по ужасам, его сопровождавшим, по сумятице, вызванной им, ни в чем не уступало первому. “Многие провинции были обращены в пустыни; испуганные жители, доведенные до полной нищеты и отчаяния, разбегались по лесам и жили наподобие диких зверей. Толпы голодных мародеров, почти людоедов, встречались повсюду”. Правительства нуждались в деньгах более чем в хлебе насущном, и Ротшильд со своими миллионами мог предписывать им условия и брать такие барыши, какие ему заблагорассудится.

Первое время после его смерти положение дел только обострилось. Началась общеевропейская война, самая ужасная из всех, приключившихся за истекшие годы XIX века. В кассах Ротшильдов было запасено достаточно миллионов. Отбросивши в сторону “мелкие” дела, вроде торговли хлопком, как не заслуживающие внимания, они сосредоточили все внимание на устройстве и реализации государственных займов. Это дело им удалось почти монополизировать, так что одно время говорили даже, что без согласия Ротшильдов ни начать, ни закончить войну нельзя. А в то время война, и только война, была на уме у всех.

Война разоряла государства. Этот факт был на виду у всех и одинаково

очевиден для крестьянина, поля которого были уничтожены проходившими мимо войсками, и для министра, убеждавшегося, что поступления в государственное казначейство падают, несмотря на все полицейские строгости. Но делать было нечего. Предрассудки народов и гений Наполеона, не остывший еще революционный жар французов и лицемерная политика Австрии и Пруссии – все это вызывало одно столкновение за другим. Утверждают, что войны Наполеона стоили Европе жизни трех миллионов ее обитателей. Но как ни драгоценны эти три миллиона человеческих жизней – расходы на войну далеко не ограничиваются ими. Всякий, я думаю, знает знаменитое вычисление Дж. Ст. Милля, по которому выходит, что 50 миллионов, истраченных государственным казначейством на военные действия, означают, в сущности, 250 миллионов, истраченных на тот же предмет народом. Государственное казначейство не считает погибших работников-производителей и их мирного труда.

Каждая война роковым образом вызывает рост государственного долга. В сущности говоря, все долги европейских государств за последние два века были последствием войн. Возьмем для примера Англию:

При Вильгельме III она истратила на войну	121 000 000 руб.
При Анне	234 000 000 ”
На войну с Испанией.	291 000 000 ”
На Семилетнюю войну	581 000 000 ”
На войну с Америкой	1162 000 000 ”
” французской Республикой	297 000 000 ”
” Наполеоном	3233 000 000 ”
На Крымскую войну.	390 000 000 ”
Итого за 200 лет	6309 000 000 руб.
Государственный же долг Англии немногим более	7000 000 000 руб.

Отсюда вывод ясный: государственный долг образовался путем займов для войн и всяческих иных вооруженных демонстраций.

Легко понять, как успешно должны были действовать Ротшильды в смутную годину борьбы с Наполеоном. На их миллионы снаряжались целые армии, за помощью к ним обращались все правительства противофранцузской лиги. Надеюсь, читатель вполне оценит всю важность того сообщения, что “при посредстве банкирского дома Ротшильдов Пруссия произвела в 1818 году заем в 50 млн. руб.; Австрия (в 1820 году) – в 20 млн. руб.; та же Австрия (в 1821 году) – 47 млн. руб.; Россия (в 1822 году) – 35 млн. руб.”.

Мы уже не считаем более мелких займов; в общем же Ротшильды, по самому умеренному расчету, доставили европейским правительствам в течение 14 лет (1812 – 1826) более 400 млн. рублей золотом. Сколько же

должны были они получить за одну только комиссию! Положение их было тем более выгодно, что в то время европейские государства совершенно не заключали внутренних займов и вели все свои финансовые дела через посредство банкиров.

Старый дом на Юденштрассе постепенно становился центром европейского финансового мира. Вскоре на том месте, где когда-то красовалась красная вывеска, сообщавшая покупателям, что здесь меняют деньги, появился баронский герб. Мистическая вера старой Гедулы оправдывалась. В 1815 году Ротшильды были возведены в достоинство потомственных дворян Австрии, в 1822 году стали сиятельными баронами; в 1823 году Джеймс Ротшильд из Парижа получил крест Почетного легиона, сначала обыкновенный, а затем – командорский, тот самый, который в настоящее время носят во Франции президент республики и еще 2 – 3 десятка лиц, и, наконец, в 1846 году сэр Антони Ротшильд, внук Майера-Амшеля, стал баронетом Англии, а следовательно, членом самой могущественной аристократии Европы.

Чтобы нагляднее представить читателю этот процесс завоевания мирового рынка, присмотримся теперь к деятельности отдельных представителей дома Ротшильдов и начнем с самого смелого и энергичного из них – третьего сына Майера-Амшеля.

Глава IV. Натан Ротшильд и Лондонский дом

Маркс как-то заметил, что люди, особенно искусные в спекуляциях, совершенно лишены дара спекулятивного мышления. Ни на ком так хорошо не оправдалась справедливость этой поговорки, как на Натане Ротшильде – быть может, самом ловком финансисте, которого только видела Европа в течение XIX столетия. “Натану-Майеру, – говорит Джон Рив, – может быть приписана большая часть успехов, выпавших на долю фирмы Ротшильдов в период 1815 – 1835 годов. Он содействовал успеху дела своего отца больше, чем кто-либо другой из его братьев. Он обладал смелостью игрока и среди биржевых спекуляций чувствовал себя в своей атмосфере. К этому герою европейской биржи, статуя которого должна занять почетное место в капище золотого тельца, – если безумие людей выстроит когда-нибудь таковое, – стоит присмотреться.

Выслушаем сначала собственный рассказ Натана-Майера о его первых шагах на финансовом поприще.

“Я, – рассказывал он Букстону, – заведовал в отцовской фирме английскими товарами. К нам во Франкфурт в 1798 году приехал один крупный оптовый торговец, главенствовавший на хлопчатобумажном рынке. Я как-то его обидел, и он поэтому отказался показать мне свои образцы. Это, помню, происходило во вторник. Тогда я сказал отцу: “Я отправляюсь в Англию”. Я говорил только по-немецки. В четверг я уже был в дороге. Чем более я приближался к Англии, тем дешевле становились английские товары. По прибытии в Манчестер я на все мои деньги накопил тамошних изделий, которые были очень дешевы, и нажил большие барыши. Я вскоре убедился, что там можно заработать сразу на трех предметах – на хлопке, на краске и на выделке мануфактурного товара. Поэтому я сказал фабриканту: “Я буду снабжать вас хлопком и красками, а вы меня – мануфактурным товаром”. Вследствие этого я зарабатывал на каждом моем обороте и притом в состоянии был продавать свои товары дешевле, чем кто-либо другой. В очень короткое время я превратил свои двадцать тысяч фунтов в 60 тысяч. Весь мой успех основан был на следующем правиле: “Я могу исполнить все то, что может сделать другой человек, а потому я буду конкурировать с торговцем, не показавшим мне свои образцы, и со всеми остальными”.

Действие этого рассказа относится к 1798 году. В это время Натану-Майеру было никак не больше 24 лет. Он не получил почти никакого образования, не знал ни одного языка. Нелюбовь отца к наукам передалась и сыну, которого никогда в течение всей жизни не видели читающим книгу. Он не интересовался ни поэзией, ни философией, ни музыкой; вся его умственная энергия сосредоточилась возле одного пункта и, не тратясь по сторонам, достигла поразительных результатов. Он не терпел бездействия и проводил всю свою жизнь в разъездах и в своей конторе. Воспитание, полученное им в старом франкфуртском доме, принесло блестящие результаты. Это воспитание было чисто деловым, торговым. Когда Натану было всего 10 – 12 лет, отец уже давал ему исполнять маленькие поручения, для которых требовалась находчивость. Мальчик все исполнял самым блестящим образом. Он рвался к борьбе и утверждал постоянно, что борьба – его сфера. В 18 лет он уже стал заведовать торговлей с Англией. Необычайная самоуверенность, вера в себя, свою звезду отличала его, а его отношение к людям и жизни как нельзя лучше видно из следующей жестокой, но резко сформулированной фразы: “Я никогда не имел и не буду иметь дела с людьми, которым не везет. Если они не умеют устроить своих собственных дел, то чем могут они пригодиться мне”. Быть может, это единственное философическое рассуждение, вырвавшееся у Натана Ротшильда. Оно жестоко и отвратительно, но вместе с тем как глубоко проникает оно в действительную сущность современности и сколько в нем правды – не той правды, от которой бьются сердца поэтов, а грубой жизненной правды, приносящей слабого в жертву сильному, выбрасывающей на улицу столько людей, которым “не везет”. Другой гений, но уже не финансового мира, а литературы, Бальзак, в одном, из лучших своих произведений (“Pere Goriot”^[1]) заметил как-то: “Общество не любит несчастного и избегает его. По поводу несчастья, постигшего человека, оно всегда выскажет колкое слово насмешки или равнодушное “сам виноват!”. Не будьте несчастными, неудачниками, потому что все вас станут избегать и бояться”. Не то же ли самое высказал и Натан Ротшильд?

В галерее своих родных он занимает совершенно особое место. С первых же своих шагов на жизненном поприще он отрешается от принципов меняльной лавочки, от осторожного накопления, от правил выжидательной политики.



Натан Ротшильд

Грандиозный запас энергии неотразимо влечет его на все более и более широкую арену. Он любит быстрые, решительные удары, не любит ждать и вместе с этим его проницательность первостепенна. Но это все мы еще увидим, пока же посмотрим на его дела.

В Манчестере ему было тесно. Он переселился в Лондон, и надо согласиться, что более удачного выбора арены действий он и не мог сделать. Он очутился в центре борьбы с Наполеоном, в центре мировой торговли и, в довершение всего, в атмосфере самой разнузданной конкуренции. Большого не требовалось.

Англия начала XIX века не может быть описана радужными красками. С гордостью называя себя обладательницей свободнейшей из европейских конституций, она, однако, по строю своего быта и управления была страной поистине рабской. Рабов можно было найти повсюду в ее владениях: в Ирландии, Ост-Индии, во всех колониях, наконец, в самой метрополии. Голод и нищета рабочих классов достигли таких размеров, что грозили мятежами и даже революцией. Рядом с этим среди правящих классов царил самый разнузданный эгоизм. Каждый думал только о себе; подкупы в парламенте были обычным явлением; за деньги можно было устроить что угодно. Продавались места в нижнюю палату, торговали голосами. Более характерной эпохи, когда мания личного успеха, сопровождавшаяся полнейшим равнодушием к страданиям ближних, делала бы такие завоевания, трудно себе и вообразить. Незадолго до того времени введенные паровые машины увеличили национальный доход на

сотни миллионов фунтов, но вместе с этим выбросили на мостовую сотни тысяч кустарей, еще недавно живших в довольстве в своих веселых коттеджах.

В этой дикой ожесточенной погоне за наживой спекулятивный гений Натана Ротшильда расправил свои недюжинные крылья. Гессен-кассельские миллионы помогли и ему. “Ландграф гессен-кассельский, – рассказывал он сам Букстону, – отдал моему отцу свои деньги; времени нельзя было терять (так как ожидали вторжения наполеоновских войск), и он переслал их мне. Я совершенно неожиданно получил по почте 600 тысяч фунтов стерлингов и поместил их в дела таким выгодным образом, что ландграф подарил мне все свое вино и белье”.

Пожив в Англии, Натан-Майер составил себе верное представление о ее могуществе, об источниках ее силы и поразительного, все возрастающего богатства. Попав в Лондон в самый разгар борьбы с Наполеоном, он решил, что Англия рано или поздно должна победить, и стал действовать сообразно с этим своим убеждением, никогда в течение целых десяти лет (1804 – 1814) не изменяя ему ни на минуту. Он не ошибся и в награду за это получил миллионы.

“Вскоре после основания моей фирмы в Лондоне, – вспоминал он в минуту откровенности, – я скупил все векселя герцога Веллингтона, не стоившие почти ничего. Но я знал, что Англия заплатит за них в случае удачи ее единственного способного генерала, и на самом деле я получил все полностью до последнего фартинга.

Другой раз я узнал, что ост-индская компания имеет в продаже золота на 800 тыс. фунтов стерлингов. Я пошел и купил его. Мне было известно, что Веллингтон, командовавший в то время войсками в Португалии и не получивший своевременно денег, нуждался в звонкой монете. Я не ошибся. Правительство, узнав о моей операции, прислало за мною и объявило, что ему нужно мое золото. Я отдал, но никто не *знал*, как доставить его в Португалию. Я принял это дело на себя и перевел деньги *через Францию (!)*. Это был наилучший оборот, сделанный мною когда-либо”.

Говорят, что на одной этой операции Натан-Майер нажил полтора миллиона рублей, но он рисковал восемью миллионами.

Хотя Натан Ротшильд вообще назывался в Англии купцом, однако главной сценою его лихорадочной и почти всегда победоносной деятельности была биржа. В то время когда повышение и понижение бумаг зависело от выигранного или проигранного сражения, иногда просто от слуха с театра военных действий, устоять против искушения игры, особенно такому горячему человеку, как Натан, было совершенно

невозможно. Умение наживать деньги при необыкновенно счастливой прозорливости сделали его царем лондонской биржи в то время, когда ему не было еще и тридцати лет. Никто, подобно ему, не мог сказать про себя: *“В течение пяти лет я умножил свой капитал в 2500 раз”*.

Ловкость, с какою Натан доставил золото в Португалию, открыла ему доступ к министрам Англии, а это давало ему возможность получать из первых привилегированных источников, и притом ранее всех других конкурентов, такие сведения, которые могли иметь влияние на положение денежного и фондового рынков.

“Каждое ранее других полученное им известие, – говорит Рив, – давало ему возможность наживать тысячи на фондовой бирже, пульс которой он умел щупать лучше всякого другого. Но Натан Ротшильд вскоре стал находить неудовлетворительными для себя привилегированные известия, обеспеченные ему сближением его с правительством, и он устроил свою собственную систему получения новостей, которые стали к нему приходить гораздо ранее прибытия правительственных курьеров и посланцев. Он сформировал собственный штаб деятельных агентов и курьеров, которые должны были следовать в хвосте партий или пребывать при различных дворах и передавать ему систематически, не жалея расходов, вести обо всем происходящем. Ротшильд устроил голубиную почту, при посредстве которой известия с континента получались им быстро и через короткие промежутки времени. Он тратил огромные суммы на голубей и всегда готов был заплатить дорого за тех из них, которые отличались быстрым, сильным полетом. Неоднократно он получал важные известия ранее правительства. Так, Натан Ротшильд первый объявил о поражении Наполеона под Ватерлоо, и он же первый сообщил лорду Абердину об июльской революции в Париже.

Победа англичан при Ватерлоо доставила Натану Ротшильду огромную прибыль. Многие из его обширных спекуляций были основаны на уверенности в окончательном успехе английского оружия. Но вдруг неожиданное возвращение Наполеона с острова Эльба разрушило разом его золотые мечты и возобновило прежние опасения и тревоги. Натан Ротшильд, предугадывая, что будущность его состояния зависит от судьбы Наполеона, решил, не доверяя более скорости своих курьеров и деятельности своих агентов, сам отправиться на материк, чтобы лично следить за ходом событий. Он прибыл в Бельгию и направился за английскими войсками. Когда герцог Веллингтон занял позицию при Ватерлоо, Натан Ротшильд немедленно сообразил, что наступил момент кризиса, а потому не удовольствовался тылом армии, но выехал на поле

битвы и выбрал себе местность, с которой можно было видеть обе армии. Вокруг себя он увидел многих из тогдашних государственных деятелей, например, графа Поццо ди Борго, барона Мюффлинга, генерала Алава и других. Натан Ротшильд обращался с расспросами к каждому, кто только выслушивал его. Ответы, получаемые им, были неутешительны. Все были уверены, что битва между двумя подобными замечательными полководцами будет продолжительна и упорна. Многие надеялись на победу Веллингтона, но никто не считал себя вправе предсказать ее.

Битва началась. Натан Ротшильд сквозь облака порохового дыма старался следить за эпизодами борьбы. Когда старая гвардия Наполеона, считавшаяся до той поры непобедимой, ринувшись в атаку под командой маршала Нея, была отброшена англичанами и даже смята ими, – Натан Ротшильд освободился от мучившего его страха и со спокойным духом поскакал обратно в Брюссель.

Были уже сумерки, когда он оставил поле битвы. Этой ночной поездки под гром пушек, при свете падавших ядер он не забывал никогда. В Брюсселе он не без труда достал экипаж, чтобы как можно скорее добраться до Остенде, куда он и прибыл совершенно измученный утром 19 июня. Несмотря на полную усталость, он не хотел отдыхать. Погода была бурная, но он все-таки потребовал у рыбаков, чтобы его перевезли через Ла-Манш. Ротшильд предложил за это 500 франков, повышал плату постепенно, но никто не решался пускаться в море чуть не в бурю. Наконец, когда Ротшильд предложил 2000 франков, один из рыбаков согласился перевезти его в Англию под условием, чтобы означенная сумма была выдана жене его, прежде чем лодка выйдет в море.

Лишь только Ротшильд отплыл по направлению Англии, буря стихла, подул попутный ветер и ускорил переезд. Вечером высадились в Дувре. Но и тут неутомимый спекулянт не пожелал отдохнуть хоть несколько часов и, взявши лучших почтовых лошадей, отправился в Лондон и на следующий день стоял уже на фондовой бирже (Stock-exchange), прислонившись к любимой своей колонне. По его лицу было видно, что он удручен какою-то страшною катастрофой. На бирже стало известно, что Ротшильд необыкновенно поспешно возвратился с континента, и что его агенты усиленно сбывают с рук все бумаги. Посетители, видя сумрачное лицо Ротшильда, обменивались между собой многозначительными взглядами и единодушно пришли к заключению, что все их надежды рушились окончательно и что какая-то страшная катастрофа произошла по ту сторону Ла-Манша. Спекуляторы тихо переходили один от другого, шепотом объясняя друг другу причины, почему главный воротила биржи так

усиленно продает бумаги. Общий страх увеличился, когда стало известным, что Ротшильд по секрету сообщил одному своему приятелю, будто Блюхер со всею 117-тысячной армией был разбит под Линьи, а Веллингтон со своим незначительным отрядом не надеется остановить победоносного Наполеона, располагающего гораздо большими боевыми силами. Началась общая паника, фонды вдруг сильно понизились, так как все были убеждены, что водворенный в Европе мир опять сменится новой продолжительной войной.

На следующий день, однако, произошла полная и неожиданная перемена декораций. Повсюду разнеслась весть, что Веллингтон одержал над Наполеоном блистательную победу. Натан Ротшильд первый сообщил эту весть приятелям; лицо его сияло восторгом. Фонды, разумеется, поднялись сразу до небывалой высоты. Многие сожалели о громадных потерях Ротшильда, продававшего вчера бумаги по низкой цене. Никто и не подозревал, что в то время, как его официальные агенты продавали бумаги, неофициальные скупали, где и сколько возможно. В результате Ротшильд нажил более одного миллиона фунтов стерлингов в один только день”.

Я передал главные биржевые рекорды Натана Ротшильда, – читатель легко может вообразить себе десятки и сотни остальных. Авторитет его “после победы при Ватерлоо”, как он шутя называл свою знаменитую операцию, стал несокрушимым. Ему слепо верили, верили его удаче, его звезде, и все, особенно правительства, постоянно нуждались в нем и обращались к нему с просьбами об устройстве займов. Он не отказывал, но при обязательном условии, чтобы в стране все было спокойно. Таким путем он влиял и на внутреннюю политику европейских государств, и либеральные начинания не пользовались его симпатиями. Рассказывают, что один неаполитанский министр, прежде чем обратиться к Натану-Майеру с просьбой о займе, отправил на каторжные работы 500 человек государственных преступников, и Ротшильд нашел, что такая страна и такой министр заслуживают кредита.

Он занимался и торговлей, имел даже свои рудники, всюду внося дух спекуляции. Вот один характерный эпизод.

До открытия месторождения ртути в Калифорнии Европа получала этот металл из Альмадены (в Испании) и Идрии (в Австрии). В 1831 году Испания, по обыкновению нуждаясь в деньгах, заключила с Натаном заем и в обеспечение правильной уплаты процентов заложила ему альмаденские рудники. Результатом этой сделки было повышение цены испанской ртути вдвое. Тогда торговцы обратились в Идрию в надежде купить там ртуть по дешевой цене. Но Ротшильд предупредил их и тут: рудники Идрии

одинаково оказались в полной зависимости от него. Пришлось платить по назначенной им таксе. “Это умная штука”, – говорил Ротшильд про свою операцию, не обращая ни малейшего внимания на печать, жестоко ополчившуюся на него за подорожание лекарств, необходимых для бедных больных.

Разумеется, даже и Ротшильду везло не всегда, и в его жизни бывали эпизоды, когда “коса находила на камень” и его побеждали его же собственным оружием, то есть ловкою спекуляцией. Однажды, нуждаясь в разменных деньгах, он занял у одного банкира под залог консолей полтора миллиона фунтов с тем условием, что в случае падения этих бумаг с 84 до 74 банкир имел право оставить их за собой по 70. Консоли – бумага верная, и Ротшильд даже не подозревал, какую штуку выкинет с ним собрат по оружию. Тот между тем, выждав время, вдруг наводнил биржу лежавшими у него в закладе консолями, сам же и скупая их, разумеется. Но одновременное появление на рынке груды бумаг вызвало смущение, и консоли неожиданно упали до 74. Банкир оставил их за собой согласно договору по 70 и положил таким образом всю разницу ($84-70=14$ с каждой бумаги) себе в карман, убыток Ротшильда составил не менее 2 млн. рублей.

В другой раз он попался еще более “странным” образом. Я приведу и этот эпизод, очень характерный для иллюстрации нравов первостатейных финансистов Европы.

У Ротшильда был конкурент Лукас. Этот последний заметил однажды, что Ротшильд что-то затевает, и решился во что бы то ни стало проникнуть в тайну. С этой целью он притворился пьяным и, без церемоний ворвавшись в дом Ротшильда, растянулся у дверей его кабинета. Тот, совещавшийся в это время с агентами, вышел на шум и хотел было привести Лукаса в чувство, брызгая ему холодной водой в лицо. Но, кроме пьяного храпа, Лукас не показал никаких признаков жизни, и его оставили валяться на полу. Этого только ему и надо было, так как через запертую дверь он услышал, что Ротшильд делал распоряжение о покупке каких-то бумаг. Пролежав некоторое время, Лукас вернулся домой, и на другой день, прежде чем Ротшильд пришел на биржу, все нужные ему бумаги были уже скуплены его конкурентом. “Это низко, это бесчестно, это подло”, – бранился Ротшильд, но потери своей, разумеется, не мог уже вернуть.

Читатель сам видит теперь, из каких элементов слагалась удача Натана-Майера Ротшильда. Гессен-кассельские миллионы, поддержка отца и братьев, наполеоновские войны, само имя Ротшильд и, наконец, личная грандиозная предприимчивость, личная грандиозная энергия – все это соединилось, чтобы дать возможность частному человеку влиять на судьбу

европейских народов, душить либеральные веяния и содействовать торжеству той системы, при которой, по его собственным словам, “получение следуемых процентов – вещь совершенно обеспеченная”...

Но Натан Ротшильд интересен и с другой стороны. Я уже заметил выше, что в галерее своей семьи он занимает совершенно особое место. В его фантазии больше полета, в его проектах больше смелости, в его деятельности больше авантюризма, чем у его отца, братьев, племянников, внуков. Он любил наносить быстрые, решительные удары, и в самые критические минуты жизни, не теряя присутствия духа, стоял, прислонившись к своей излюбленной колонне на лондонской бирже, выражая своим лицом как раз то, что было нужно для его выгоды.

Его самоуверенность и самодовольство граничили с наглостью, и несколько фактов, которые я сейчас приведу, оправдают, надеюсь, мои резкие слова.

Он женился в 1806 году на дочери Леви Корна, одного из богатейших лондонских евреев того времени. Согласившись на сделанное Ротшильдом предложение, Корн усомнился, однако, в том, так ли богат его будущий зять, как говорят, и потребовал доказательств. Натан, однако, отказал ему в его желании, сказав, что раз речь зашла о его состоянии, то Корн смело может отдать за него сразу всех своих дочерей.

Не менее интересны его столкновения с лондонским банком.

Однажды он занял в последнем несколько миллионов золотой монеты и обязался уплатить в назначенный день непременно золотом. Наступает срок, и рано утром Ротшильд является с запасом ассигнаций как раз на сумму, равную его долгу. Директора напоминают ему о его обязательстве и просят доставить золото, а не билеты. “Я и не думаю выплачивать долга, – отвечает Ротшильд. – Я прошу только разменять мои бумаги, а вечером вы получите все, что следует по уговору, звонкой монетой”.

Другой случай смахивает несколько на анекдот, достаточно, впрочем, характерный, чтобы его привести здесь.

Банк нанес однажды смертельную обиду Натану Ротшильду, отказавшись принять к учету вексель на значительную сумму, переведенный его братом Ансельмом из Франкфурта на его имя в Лондон. Директора банка высокомерно отвечали, что банк дисконтирует только свои собственные векселя, но не векселя частных лиц.

– Частных лиц! – воскликнул Натан Ротшильд, когда ему сообщили об ответе банка. – Частных лиц! Хорошо же, я дам почувствовать этим господам, что мы, Ротшильды, за частные лица.

Три недели спустя утром Натан явился в банк немедленно после его

открытия. Все это время он употребил на покупку в Англии и на континенте английских ассигнаций, сколько только мог набрать их. Подойдя к кассе, он вынул из бумажника банковый билет в 5 фунтов, и кассир немедленно отсчитал ему 5 золотых монет; у других касс агенты Ротшильда проделывали то же самое. Кассиры были удивлены, но молчали. Ротшильд получил 5 гиней, внимательно осмотрел одну монету за другою и осторожно опустил их в небольшой холстинный мешок, висевший у него за поясом. Затем он вынул из бумажника второй, третий, четвертый, десятый, сотый билет, постоянно требуя уплаты золотом и не обращая малейшего внимания на публику, толпившуюся сзади него в ожидании очереди. По временам он даже взвешивал монеты на весах, говоря, что закон предоставляет ему подобное право. Вынув банковые билеты из первого бумажника и наполнив золотом первый мешок, он передал их своему конторщику, который взамен передал ему новый запас ассигнаций. Таким образом, пока не настал час закрытия банка, Ротшильд продолжал обменивать свои билеты на золото. Он пробыл в банке семь часов и обменял билетов на 21 тысячу фунтов. Но так как в одно время с ним девять его агентов занимались тем же, то сумма выданного в этот день золота равнялась 210 тысячам фунтов стерлингов, или 2100 000 рублей. К тому же Ротшильд до того занял всех кассиров банка своим делом, что никто из посторонних лиц не мог обменять ни одного билета. Англичане любят всякого рода чудачества, а потому и выходка миллионера вызвала общий восторг в публике. Но директорам банка было не до смеха, особенно когда на следующий день с открытием дверей Ротшильд вновь явился в сопровождении своих девяти союзников. Особенно смутились директора, когда финансовый деспот сказал им с ироническим простодушием:

– Господа директора отказываются принимать мои векселя, а я поклялся не держать у себя их обязательств. Я только предупреждаю, что у меня скуплено банковых билетов столько, что на обмен их потребуется два месяца.

В течение двух месяцев банк лишился бы золотого запаса на 11 млн. фунтов стерлингов. Директора смутились и стали совещаться между собой о том, что им делать. На следующее утро в банке красовалось объявление: “С этих пор векселя Ротшильда принимаются к уплате без всяких затруднений”...

Психика Натана-Майера Ротшильда – это психика чисто делового человека, “a very man of business”, как говорят англичане. От главной задачи жизни его ничто не могло отвлечь – ни общественные вопросы, ни филантропия, ни искусство, ни литература. “Вся жизнь мира

представлялась ему одной грандиозной финансовой проблемой”. На месте нравственности у него был, по-видимому совершенный вакуум. Мы уже знаем его характерное изречение о неудачниках. Относительно демократических веяний он выражался еще проще, говоря: “Народам нельзя верить ни гроша в долг, можно верить лишь правительствам, и то достаточно сильным”. В его одежде, жизни, разговоре всегда звучала черта грубого цинизма. В обращении с людьми он держал себя властно, надменно, презрительно; с подчиненными – повелительно и жестокосердно. Он жил роскошно, но лично ему эта роскошь была совершенно не нужна, одевался он плохо, в затасканный сюртук, обедал между двумя делами – и терпеть не мог никаких сборищ. Весь поглощенный своим делом, он жил им и для него.

Букстон, характеризуя Натана Ротшильда, говорит: “У него была горячая голова и холодная кровь. Голова порождала десятки и сотни самых смелых и рискованных проектов; холодная кровь позволяла выбрать между ними один, благоразумнейший. Очертя голову он не бросался ни во что; даже такая вещь, как отправка английского золота через Францию, с которой Англия находилась в войне, была скорее диверсией ловкого стратега, чем выходкой смелого авантюриста”.

Был ли добр Натан Ротшильд или нет? Мне кажется, ни то, ни другое, – да, в сущности, это и неважно. Если бы он хотел прослыть добрым, ему ничего не стоило бы раздавать по миллиону в год, и репутация филантропа – самая легко достижимая из всех существующих репутаций – навеки нерушимо утвердилась бы за ним. Если бы же он был действительно жесток, он бы “топил” своих безопасных конкурентов, на что имел постоянно полную возможность. Но он не делал ни того, ни другого, не раздавал денег и не вредил людям, раз того не требовала его прямая выгода. Добр тот, кому добро доставляет удовольствие, жесток тот, кого зло неотразимо тянет к себе. Ротшильд не знал соблазнов ни в ту, ни в другую сторону. Друзья хвалят его за добродушие (*good humour*), семью он, несомненно, по-своему любил и холил ее, в отношении отца и его заповедей он был послушным сыном. Без этого Ротшильд был бы настоящей биржевой машиной, одаренной быстрой сообразительностью.

Нельзя не поразиться здоровой цельностью его натуры. Это человек борьбы, самой узкой и односторонней, – борьбы за деньги. Он совершенно специализировался в своем деле и принял его характерный отпечаток. Биржа и спекуляция как бы выштамповали на нем свое изображение, сосредоточили в его маленькой безобразной фигуре всю свою сущность, наделили некоторыми человеческими свойствами, не мешавшими

“деланию” денег, и предусмотрительно лишили всех тех качеств, которые могли бы заставить человека задуматься, поколебаться, остановиться наконец.



Н. Ротшильд у биржевой колонны

Не только застенчивости, совестливости, раскаяния, но даже уныния и меланхолии Ротшильд не знал никогда. Живой, подвижный, он бегал, хлопотал, суетился, любил разъезжать, и это постоянное движение, эта постоянная горячка разгоняли ему кровь.

Я не желаю усиливать краски и рисовать чудовище безнравственности. Я уже заметил выше, что у Ротшильда были друзья, что он любил семью, следовательно, он был форменным человеком. Но у него не было того, что мы называем общественной нравственностью, то есть симпатии к ближним, не было, кроме того, и следа идеализма. Сердце его было сухо, сострадания он не знал, увлекаться какой-нибудь утопией было для него немислимо по самому существу его натуры. Поставленный по самому происхождению во враждебные отношения к обществу, он, разумеется, не разделял его вождлений; воспитание и природные данные сосредоточили все его способности на одном пункте.

В этом смысле он был самым типичным из своих современников. Припомните, какую моралью, какими принципами жили тогда высшие классы. Это было время юности нашего современного строя. Молодая буржуазия во всех странах Европы выступила на первый план, захватила в свои руки законодательство, администрацию, торговлю и промышленность

и оттеснила аристократию на второй план. Юная и самонадеянная, она гордо бросилась в битву жизни, твердо помня лишь одно правило, что главная сила современности – деньги, капитал. Надо достать их. Не все ли равно, каким путем, лишь бы это был законный путь. Успех – вот бог того времени, и если для того, чтобы добиться его, надо пройти по телам неудачников – не беда: идя на приступ, солдат не думает о том, кого давит своими ногами. Всякий за себя. Поприще соревнования открыто для всех. При уме, талантах, выдержке, находчивости можно добиться всего – министерского портфеля, миллионов, уважения современников, славы. Кто не добился ничего – тот сам виноват.

Ротшильд жил по тем же правилам, и надо согласиться, что при них общественная нравственность была бы прямо обременительной. Пропитавшись идеалом современности, он как нельзя лучше пользовался ее условиями. Он делал то, что и другие, но делал ловчее и лучше. Он и получал на свою долю больший пай.

Идея еврейства так же мало интересовала его, как и идеи вообще. Говорят, он был любимым сыном старой Гедулы. Но старая Гедула, которая помнила еще унижения, вынесенные ею когда-то во франкфуртском квартале, могла проникаться торжествующим чувством удовлетворенности при виде могущества своих сыновей, перед которыми преклонялись все. Ничего подобного ни в словах, ни в поступках Натана-Майера Ротшильда не было заметно. Едва ли даже он спрашивал себя когда-нибудь, зачем нужны ему эти десятки, а может быть, и сотни миллионов, которые он наживал. Он несся в вихре биржевой игры и спекуляций, несся с гордым сознанием своей силы, всегда самоуверенный, пронизательный, готовый на риск, если риск не означал азарта. Восточный поэт сравнил бы его с ветром пустыни, несущимся по золотому песку и собирающим этот драгоценный песок в громадные смерчи-столбы.

Он умер в 1835 году, всего 60-ти лет от роду.

Глава V. Барон Джеймс Ротшильд из Парижа

Личность Натана Ротшильда – настолько выдающаяся сама по себе, что мы имели основание подробно остановиться на психологическом ее разборе. Мы видели, как *он* делает миллионы. Посмотрим теперь, как миллионы создаются почти *сами собой*, без особенных усилий со стороны владельца, как они порождают друг друга, если общественная атмосфера благоприятствует их размножению. Для этого нам придется ознакомиться с деятельностью Джеймса (Иакова) Ротшильда парижского, барона Австрии и кавалера командорского креста Почетного легиона.

Джеймс Ротшильд основал свой банкирский дом в 1812 году, в год смерти своего отца, старого Майера-Амшеля. Следовательно, он явился в Париж в тот момент, когда там шли окончательные приготовления к грандиозному походу на Россию и когда уже было близко быстрое падение Наполеона. Он застал самый расцвет империи, ее наружную мишуру и позолоту, прикрывавшие страшную нищету народа и почти полное банкротство государственного казначейства. Народ отдал все, что мог: три миллиона самых здоровых, сильных, молодых его сынов уже лежали на полях сражений, три с лишним миллиарда франков были затрачены на завоевание мира. Но император требовал все новых и новых жертв. Впрочем, и его положение было не из лучших. Борьба с Испанией бросила тень на его воинскую славу и непобедимость его войск; он, как человек в высокой степени проницательный, видел, что его популярность падает; до него в Тюильри уже доносился глухой ропот обездоленных и обобранных. Он помнил самые страшные моменты великой революции и знал, что этот народ, сегодня такой покорный, почти раб – завтра может восстать, как проснувшийся лев, и смыть целыми потоками крови позор своего унижения. Надо было поправить дела, восстановить веру в свою непобедимость и поразить воображение всех и каждого чем-нибудь невероятным. Этим невероятным должно было быть завоевание России.



Джеймс Ротшильд

При таких-то обстоятельствах барон Джеймс открывал на улице Лафитт свою банкирскую контору. Однако при Наполеоне ему не удалось обделать ни одного крупного дела, хотя он и не прочь был вступить с императором в денежные отношения. Гораздо лучше чувствовал он себя при Бурбонах, но тут случился маленький инцидент, который нарушил сердечные отношения между дворцом и улицей Лафитт. Барону Джеймсу вздумалось представить свою жену ко двору. Когда по этому поводу состоялось совещание, гордая герцогиня Ангулемская, истратившая в изгнании свою красоту и молодость и ожесточенная против всякой черни вообще, воскликнула: “Никогда! Не надо забывать, что французский король носит прозвание христианнейшего”. – “Хорошо же, – проговорил Ротшильд, – пусть же знают, что я не дам им ни гроша”.

И он сдержал свое обещание и своими маневрами на бирже несколько раз наказывал гордое правительство на миллионы. Бурбонам он вообще не доверял и был прав: Карл X едва не разорил его совершенно, впрочем, независимо от своей воли. Случилось это накануне июльской революции. В это время первый министр Полиньяк заготовил свои знаменитые ордонансы, отнимавшие у нации даже тень политической и гражданской свободы, и каким-то образом содержание их стало известным банкиру Уврару. Уврар, предчувствуя банкротство правительства, отправился в Лондон и стал самым энергичным образом играть на понижение, наводняя рынок французскими бумагами. Лондонская биржа встревожилась, и главный покупатель ее, Натан Ротшильд, телеграфировал брату, чтобы тот

разузнал, в чем дело. Барон Джеймс немедленно же поехал к Полиньяку и потребовал объяснений, заявив на своем ломаном французском жаргоне, что тут затронуты “самые кровные его интересы”. Полиньяк сказал, что действительно он заготовил кое-что, но это чистые пустяки (un pur rien). Наивный министр и на самом деле полагал, что его ордонансы, почти восстанавливавшие инквизицию, – un pur rien. Ротшильд успокоился, не распродал своих бумаг и потерял миллионы.

Лишь со вступлением на престол Луи Филиппа (июль 1830 года) дела Джеймса Ротшильда пошли полным ходом, как шли в то время дела всех миллионеров вообще. Трудно на самом деле вообразить себе для торгашей, для банкиров, для спекуляторов обстановку более удобную, чем обстановка Июльской монархии. Нужно было лишь иметь миллионы, чтобы быть всем, – у Ротшильда они находились в изобилии. Между прочим, вот любопытная таблица крупных состояний, составленная Луи Бланом в 1841 году:

1)	Король Луи Филипп имеет	800 000 000	франков
2)	Джеймс Ротшильд	600 000 000	”
3)	Барон Грешпуль	100 000 000	”
4)	Герцог Омальский	70 000 000	”
5)	Принцесса Аделаида	70 000 000	”
6)	Гооп (банкир)	40 000 000	”
7)	Фульд (то же)	30 000 000	”
8)	Готтингер и Пешлагра (то же)	20 000 000	”
9)	Дюрон, Делессер, Гальфен (то же)	15 000 000	”
10)	Бадон имеет.	12 000 000	”
11)	Братья Лафитт имеют	10 000 000	”

Как видно, Ротшильд был первым богачом Франции после короля. Даже клика всех банкиров, пока во главе ее не встал талантливый Перейра, не могла ничего сделать с ним, так как сумма их состояний равнялась лишь 362 млн. против 600 млн. ротшильдовских.

Но, чтобы понять размножение миллионов Джеймса Ротшильда (перед Июльской монархией у него было не более 200), надо обратиться к подробной характеристике того времени. Позволю себе привести здесь несколько блестящих страниц из “Воспоминаний” Токвиля, знаменитого автора “Демократии в Америке”:

“Тому, кто будет рассматривать нашу историю с 1789 до 1830 года в ее целостности, она должна представлять собою картину ожесточенной борьбы между старым режимом с его традициями, воспоминаниями, надеждами и аристократическими деятелями и новой Францией, управляемой людьми среднего сословия. 1830 годом закончился этот первый период наших революций, или, вернее, нашей революции, потому что у нас была среди

различных переворотов только одна революция, начало которой видели наши деды, а конца которой мы, по всей вероятности, не увидим. В 1830 году среднее сословие одержало окончательную и такую полную победу, что все политические права, все льготы, все прерогативы, вся правительственная власть оказались замкнутыми и как бы наваленными в кучу в узких рамках этого одного сословия, в которое был закрыт доступ легально всем, кто стоял ниже, а фактически – всем, кто стоял выше. Таким образом, среднее сословие сделалось единственным руководителем общества; даже, можно сказать, взяло его в арендное содержание. Оно заместило все должности, до крайности увеличило их число и приучилось жить почти столько же за счет государственной казны, сколько своим собственным трудом.

Лишь только совершилось это событие, все политические страсти стихли, во всем стала обнаруживаться какая-то мелочность интересов и стало быстро развиваться народное богатство. Отличительный дух среднего сословия сделался общим духом правительства; он стал господствовать и во внешней политике, и в делах внутреннего управления: это был дух деятельный, предприимчивый, часто нечестный, вообще склонный к порядку, иногда отважный из тщеславия и из эгоизма, робкий по своему темпераменту, воздержанный во всем, кроме влечений к благосостоянию, и не возвышавшийся над посредственностью; если он смешивается с духом народа или аристократии, он может творить чудеса, но в одиночестве он в состоянии создать только такое правительство, у которого нет ни добродетелей, ни величия. Сделавшись таким полным во всем хозяином, каким никогда не был и, может быть, никогда не будет никакая аристократия, среднее сословие ввело такую систему управления, которая была с виду похожа на промышленное заведение частного лица; оно окружило окопами свое могущество и вскоре после того свой эгоизм, так как каждый из его членов заботился гораздо более о своих собственных интересах, чем об общей пользе, – гораздо более о своих собственных удовольствиях, чем о величии нации.

Люди нового поколения обыкновенно замечают бросающиеся в глаза преступления предков, но не имеют понятия об их порочных наклонностях, поэтому они, может быть, никогда не узнают, до какой степени Июльское правительство усвоило в конце своего существования приемы промышленной компании, руководствующейся во всех операциях денежными интересами своих членов. Причиной этих порочных наклонностей были врожденные инстинкты господствующего класса, его безусловное владычество и даже характер той эпохи. Их усилению, может

быть, содействовал и король Луи Филипп”.

По сочинениям Берне и Гейне, по “Истории Цивилизации” Бокля, наконец, по “Воспоминаниям” Токвиля русский читатель может составить себе полное представление о Луи Филиппе, короле-буржуа. Король для приобретения популярности пожимал руку добрым гражданам и спрашивал их: comment sa va?..^[2] “Прекрасный семьянин, он был крупнейшим собственником своего государства, владея 800 млн наличных денег. Но все ему казалось мало, и ни для кого не секрет, что он постоянно играл на бирже и участвовал в различных промышленных спекуляциях. Самомнение его было грандиозно. Управление государством он называл “*tenir mon fiacre*” (править своей тележкой) и не верил, что когда-нибудь в его стране может вспыхнуть революция. “*Je suis bon roi du bon peuple*”^[3], – говорил он незадолго до знаменитых событий февраля 1848 года. В общем, это был король-буржуа, король-банкир, с единой политикой и единой программой – наживать деньги. Слабость его заключалась в пристрастии к популярности: стоило нескольким десяткам человек собраться под окнами его дворца, как он немедленно выходил на балкон и дружелюбно раскланивался с представителями *bon peuple*^[4]. Когда ему сообщили о февральских баррикадах, он сказал: “Дайте мне коня, я покажусь моему доброму народу, и все пойдет хорошо”. Ему дали коня, он показался своему доброму народу, но из всего этого не вышло ничего... хорошего, разумеется”.

Законодательный корпус состоял в основном из представителей крупной буржуазии, так как выборный ценз в то время достигал 300 франков прямых налогов. Банкиры первенствовали в палате. Чем же была она?

“Не знаю, – говорит Токвиль, – существовал ли когда-либо такой парламент (не исключая и учредительного собрания, то есть того настоящего учредительного собрания, которое было созвано в 1789 году), в котором было бы больше разнообразных и блестящих талантов, чем в том, который заседал в последние годы Июльской монархии. Однако я могу утверждать, что эти великие ораторы наводили скуку друг на друга и, что еще хуже, наводили скуку на всю нацию. Она мало-помалу привыкла считать происходившую в палатах борьбу скорее за упражнения в красноречии, чем за серьезные прения, а разномыслие парламентских партий – большинства, левого центра, династической оппозиции – принимала за внутренние распри между членами одного семейства, старавшимися надуть один другого. Некоторые, случайно обнаружившиеся,

факты лихоимства заставляли ее повсюду предполагать существование таких же, скрытых от ее глаз, фактов; они убедили ее сословие, что все, управлявшее страной, было нравственно испорчено, и она стала относиться к этому сословию со спокойным презрением, которое принималось за выражение доверия и довольства”.

Законодательный корпус лучше всего проявил свое “нравственное содержание” в ту минуту, когда, уступая настойчивому давлению извне, король отрешил от должности Гизо и поручил составить новое министерство “в более демократическом духе” Моле. Произошла эффектная сцена:

“Члены оппозиции, не вставая со своих мест, стали громкими криками выражать свою радость по случаю того, что за ними осталась победа и что была удовлетворена их жажда мщения; только их вожди молчали, обдумывая, как извлечь пользу из одержанной победы, и уже стараясь не оскорбить большинства, к содействию которого, может быть, скоро должны будут прибегать. А этому большинству был нанесен такой неожиданный удар, что оно некоторое время колебалось, подобно массе, которая раскачивается из стороны в сторону, так что нельзя предвидеть, на которую сторону она свалится; затем ее члены шумно устремились на середину залы; некоторые из них окружали министров, чтобы потребовать от них объяснений или чтобы в последний раз выразить им свою преданность; но все остальные стали осыпать министров громкими и оскорбительными упреками. “Сложить с себя обязанности министров, – говорили они, – и покинуть своих политических друзей в такую минуту – это ужасная подлость”; другие говорили, что следует отправиться в полном составе в Тюильрийский дворец и потребовать от короля отмены его пагубного решения. Эти выражения отчаяния были вполне естественны, так как был нанесен смертельный удар не только политическим убеждениям членов большинства, но и самым дорогим их личным интересам. Событие, ниспровергнувшее министров, нарушало их материальные интересы, – одного лишало возможности дать дочери приданое, другого лишало возможности устроить карьеру сына. А почти все они ведь только и руководствовались такими расчетами. Большинство из них не только достигло высокого положения умением оказывать услуги, но даже, можно сказать, жило только

этим уменьем и надеялось еще долго им жить, потому что министерство существовало восемь лет и все привыкли думать, что оно никогда не будет заменено другим. К нему привязались точно так, как честный и спокойный человек привязывается к своему полю. Я смотрел с моей скамьи на эту волнующую толпу; я замечал, как на этих взволнованных лицах перемешивались выражения удивления, гнева, страха и еще не насытившейся жадности; я мысленно сравнивал всех этих законодателей со сворой собак, которых отгоняют от отданной им на съедение дичи в такую минуту, когда их пасть еще наполовину наполнена мясом”.

Июльская монархия была поистине царством банкиров, где простому смертному не находилось места. Я уже говорил, что сам Луи Филипп играл на бирже; то же делал Тьер; первым министром этого царствования был Казимир Перье, дед нынешнего президента республики, – банкир-миллионер. Отношения Гизо к финансистам более чем подозрительны. В течение незначительного промежутка времени два министра были отрешены от должности и преданы суду за то, что пользовались своим официальным положением для давления на биржу, где беззастенчиво играли.

Легко себе представить, как жилось при этих условиях барону Джеймсу Ротшильду. Начнем с того, что его принимали с распростертыми объятиями в королевской резиденции Пале-Рояль. Он обедал там каждую неделю, причем Луи Филипп сажал его обыкновенно недалеко от себя и рассказывал ему свои бесчисленные анекдоты, преимущественно из времени своего пребывания в Америке. Ротшильд молча слушал, молча ел, пропуская иногда сквозь зубы какое-нибудь односложное слово. На балах, которые он задавал на Chausse d'Antin, постоянно, кроме министров, присутствовали и сыновья короля, – честь, как всякий понимает, значительная.

В 1840 году произошло знаменитое столкновение барона Ротшильда со всемогущим, по общему мнению, первым министром Тьером. Франция в то время “дипломатически поссорилась” с Германией из-за берега Рейна, и Тьер, все еще вспоминая по временам традиции Наполеоновской империи, решился на войну. Он сделал в этом смысле доклад королю, который, однако, сразу не высказал своего мнения и решил

предварительно посоветоваться с биржевыми воротилами, во главе которых стоял, конечно, Ротшильд. Ротшильд заявил, что в случае войны он будет на стороне Германии, и этого было достаточно, чтобы Франция перенесла оскорбление, а Тьер немедленно подал в отставку. В этом и подобных случаях Ротшильд действовал как власть имущий, так как, по свидетельству Рива, вообще очень ему сочувствующего, “мы можем сказать без страха ошибиться, что большинство депутатов находились в зависимых отношениях к фирме (попросту были на ее содержании) и были готовы защищать ее интересы и планы”.

1848 год, решительный в жизни Европы и жизни европейских народов вообще, за исключением России и Турции, – год, видевший Февральскую революцию во Франции, венгерское восстание, издание конституции в Германии, движение чартистов в Англии, изгнание Меттерниха из Вены, энергичные вспышки народной революции в Италии и Испании, – приостановил в то же время и возраставшее могущество фирмы Ротшильдов. До сих пор их дела шли поразительно быстрым crescendo^[5]; трудно себе вообразить, до чего дошло бы их денежное могущество, если бы они продолжали оставаться единственными финансовыми агентами европейских правительств еще несколько десятилетий. Но революция 1848 года отразилась и в этой области. Республиканское правительство, чувствуя недостаток в деньгах, обратилось за кредитом не к банкирским конторам, а к публике, и успех превзошел самые смелые ожидания. С этой поры пошли в ход главным образом внутренние займы, и таким путем громадные суммы, выплачиваемые прежде в виде “комиссии” и достигавшие миллионов, не попадали больше в ненасытные ящики биржевиков. Пришлось искать других источников дохода, и с этой поры мы видим Ротшильдов участниками грандиозных промышленных предприятий нашего времени. Главным образом они занялись постройкой железных дорог в Австрии и Франции.

Инициативу в этом деле взял на себя барон Джеймс. По его почину были проведены линия, соединяющая Париж с Версалем, и северная ветвь Париж – Люттих.

Постройка этой ветви займет не последнее место в истории промышленной жизни нашего века, почему я и позволю себе вкратце рассказать о ней.

Правительство Наполеона III объявило конкурс, решив отдать концессию на Северную дорогу тому, кто предложит наиболее выгодные

условия. Но Ротшильд забежал вперед. Одних из своих возможных конкурентов он подкупил деньгами, другим – посулил акций и так ловко повернул дело, что на конкурсе он фигурировал один; дорога, разумеется, была поручена ему. После этого началось самое беззастенчивое опустошение карманов публики. Было выпущено 300 тыс. акций, каждая по 500 франков, всего на сумму 150 млн. франков. Большую часть этих акций Ротшильд оставил за собой и пустил в продажу лишь самое незначительное их число, и то не сразу. На акции набросились, спрос был громаден, предложения почти никакого, и в скором времени цена акции повысилась до 850 франков. По этой цене Ротшильд принялся распродавать свои акции, наживая таким образом на каждой 350 франков “в виде премии за риск (!)”, как любят выражаться политэкономы старой школы. Но раз предложение увеличилось, цена неизбежно должна была понизиться и с 850 упала до 550. Ротшильд опять начал скупать акции по 550 и, вызвав этим вновь искусственное повышение, принялся продавать второй раз... Таким образом, то надавливая на рынок, то предоставляя ему свободу, то повышая цену, то понижая ее, покупая всегда по низшей и продавая всегда по повышенной, – Ротшильд по самому умеренному расчету нажил около *семидесяти пяти миллионов, не затратив ни копейки*. Несомненно, что это была лучшая из его операций, хотя прием, который он применил, и груб, и элементарен. Для удачи в этом случае нужен лишь постоянный запас наличных денег, а это у Ротшильда было.

Так делается история, так миллионы порождают миллионы.

Барон Джеймс Ротшильд умер в 1868 году девяностолетним стариком, пережив всех своих братьев, оставив своему наследнику более 1 млрд. франков, то есть 400 млн. рублей золотом. Мы видели почву, на которой выросло его грандиозное богатство, присмотримся теперь к нему как к человеку.

Несмотря на свои миллионы, Джеймс Ротшильд был расчетлив и даже скуп. О его скупости, точно так же, как и о его грубости, ходит масса рассказов; некоторые из них мы приведем здесь.

Садовник Паке вырастил в январе три великолепных персика. В то время способ получения подобных плодов зимою, ныне всем доступный, был необычайной новостью. Ротшильд вместе с другими явился полюбоваться редкостью.

– Ваши персики, – сказал он Паке, – роскошны. Сколько вы желаете за них?

– Тысячу пятьсот франков, господин барон.

– Так много?

– Я лишнего не прошу.

– За три персика 1500 франков! Боже мой. Да и персики, может быть, какая-нибудь дрянь.

– Позвольте, позвольте! – воскликнул обиженный садовник. – Я вам сейчас же докажу, что это не так.

Паке сорвал персик, разрезал его на две половины; одну дал Ротшильду, а другую съел сам.

– Что вы теперь скажете, господин барон? Вы – знаток в персиках, и я доверяю вашему вкусу.

– Очень хороши, великолепны, – сказал Ротшильд. – Ну-с, какая же ваша последняя цена?

– Я уже сказал, 1500 франков.

– Да вы не шутите: ведь теперь уже одного персика нет.

– Это безразлично, господин барон.

Поломавшись еще немного, господин барон заплатил деньги.

В другой раз Ротшильд отправился к известному живописцу Горасу Берне и спросил, что тот возьмет с него за портрет.

– С вас? Четыре тысячи франков.

– Так я вам и дал их. Четыре тысячи за каких-нибудь два-три мазка. Это уже слишком легкий способ наживать деньги.

– Все же: четыре тысячи и ни сантимата меньше.

– Да вы совсем сумасшедший, – сказал Ротшильд, уходя.

– Подождите, – закричал ему Берне вдогонку. – Я нарисую ваш портрет даром.

И он сдержал свое слово.

На картине, изображающей сдачу Абдель Кадера французам, представлен безобразный жид, спасающийся со шкатулкой, наполненной драгоценностями и деньгами. Лицо его выражает скаредность и безотчетный страх. Лицо этого еврея представляет собою портрет Джеймса Ротшильда в карикатурном виде.

Барон Джеймс прославился как филантроп. Он жертвовал большие суммы на всевозможные благотворительные учреждения, хотя в то же время очень любил быть щедрым за чужой счет. Однажды его упрекали за то, что он остается совершенно равнодушным к нуждам своих соотечественников, и намекнули, что было бы недурно, если бы он дал им возможность поживиться хотя бы крохами с его роскошной биржевой трапезы. Ротшильд согласился и в заранее назначенный день устроил искусственное повышение каких-то ценностей, – операция, на которой его земляки нажили 850 тыс. франков. На эти деньги была выстроена

роскошная синагога. Другому своему приятелю, просившему у него кредита для одного предприятия, он отвечал: “Денег я вам не дам ни сантима, но помочь – помогу. Поедьте со мной!” Они отправились на биржу и несколько раз прошли рука об руку на виду у всех. Когда Ротшильд уехал, приятель был со всех сторон завален самыми выгодными предложениями, как “друг короля биржи”.

Ротшильд всю жизнь не мог забыть о том, как третировали его при дворе Бурбонов. Он возненавидел гордую нищую аристократию и мстил ей всю жизнь. Когда при Луи Филиппе он стал другом короля и своим человеком в Пале-Рояле, он намеренно оскорблял графов, маркизов и виконтов и с наслаждением видел, как те пресмыкаются у его ног. Получить приглашение на его вечера и балы было так же лестно, как добиться доступа во дворец, но такой чести удостаивались немногие, да и те не были ограждены от грубости хозяина. Однажды Ротшильд пригласил к себе бывшего в то время в Париже принца Вюртембергского. За обедом он обращался со своим гостем совершенно запанибрата и даже третировал его. Принц сначала отшучивался, потом отмалчивался и, наконец, взбешенный вышел из-за стола. Ротшильд как ни в чем не бывало продолжал пить свое молоко – единственная пища, которую он употреблял последние 20 лет своей жизни. Другой раз посланник, хотя и не первой классной державы, спросил его: “Как поживаете?” – “Понемногу”, – отвечал Ротшильд. – “А ваша супруга?” – “А вам какое до нее дело, скажите на милость?”

Барону Джеймсу приходится отдать прежде всего ту справедливость, что он был истинным тружеником, а порою даже мучеником своего дела. Описание его рабочего дня заслуживает внимания.

“Кабинетом Ротшильда была громадная комната, в которой он занимал только маленький уголок, в глубине у крайнего окна. Он сидел перед простым бюро из красного дерева, спиной к свету. В пять часов утра он был давно уже за работой, в тот час, когда Париж еще спал; а когда около девяти часов толпа алчущих наживы стекалась в его приемную, его дневной труд был уже окончен. Посреди кабинета у гораздо больших бюро два сына и зять помогали ему, почти все время на ногах и суетясь в толпе служащих. Но это было внутреннее движение банкирского дома. Улица лишь проходила всю комнату и обращалась только к нему, к хозяину, в его скромном уголке, а он с бесстрастным и угрюмым видом в продолжение целых часов вплоть до завтрака встречал всех легким поклоном и только иногда, когда хотел быть очень любезным, – коротким словом.

Появилась длинная процессия биржевых маклеров. Они входили по

пятам друг за другом, вытаскивая из кармана сюртука все ту же небольшую таблицу курса, и подавали ее с тем же почтительным и умоляющим видом банкиру, ожидая приказа купить или продать. Их прошло уже десять, двадцать, и банкир брал каждый раз таблицу, бросал на нее взгляд и подавал обратно: ничто не могло сравниться с его терпеньем, кроме разве его полнейшего бесстрастного равнодушия под этим градом сыпавшихся со всех сторон предложений.

Наблюдатель мог спросить себя, зачем Ротшильд принимал весь этот народ? Очевидно, владея способностью уединяться, погружаться в себя, он продолжал думать, не говоря уже про то, что это был заведенный порядок, ежедневный обзор рынка, в котором он всегда находил пусть ничтожную, но прибыль. Он очень запальчиво сбавил восемьдесят франков со счета одного биржевого агента, которому дал накануне приказ и который действительно обкрадывал его. Потом пришел один торговец редкостями с золотым эмалированным ящиком прошлого столетия; вещь была частью реставрирована, и банкир сейчас же почуял подделку. Потом две дамы, одна старая с птичьим носом, другая молодая, очень красивая брюнетка; они хотели показать ему у себя комод Людовика XV, он наотрез отказался идти смотреть. Потом ювелир принес показать рубины; какие-то два изобретателя с проектами; англичане, немцы, итальянцы... – все национальности обоих полов. А процессия маклеров все продолжалась, наполняла другие помещения, с повторением тех же жестов и с тем же механическим представлением биржевых курсов, между тем как по мере приближения часа открытия биржи служащие чаще входили в комнату, принося деньги или бумаги для подписи.

Но шум стал невыносимым, когда в комнату влетел маленький, лет пяти-шести, мальчик верхом на палочке и с трубой, в которую он дул изо всех сил. Вслед за ним прибежали две девочки, одна восьми, другая трех лет, и, обступив кресло деда, дергали его за руки, вешались ему на шею, а он выносил все это терпеливо, целуя их со свойственной евреям страстной любовью к семье, к многочисленному, составляющему их силу, потомству.

В это время один из служащих, введя в комнату высокого молодого блондина, назвал Ротшильду шепотом какое-то имя. Банкир встал, впрочем, несколько не спеша, и отошел с посетителем к другому окну, между тем как один из сыновей продолжал принимать вместо него маклеров и биржевых агентов.

В белокурое господине, с которым говорил Ротшильд, нетрудно было узнать представителя одной из великих держав, державшегося очень гордо в Тюильри, а здесь стоявшего со слегка наклоненной головой и

просительной улыбкой. Случалось, что в этой публичной, как площадь, комнате, наполненной вдобавок детским криком, принимались иногда, стоя, высшие администраторы, даже сами министры императора. И здесь подтверждалось всемирное владычество этого человека, имевшего при всех дворах своих послов, во всех провинциях – своих консулов, во всех городах – агентства и на всех морях – корабли. Это был не спекулятор, не случайный властелин, ворочающий чужими миллионами и мечтающий о геройских сражениях, из которых выйдет победителем и с помощью чужого, отданного в его распоряжение, золота заработает на свою долю колоссальную добычу; это был, как он сам добродушно выражался, просто самый искусный и, наверное, самый ревностный денежный торговец. Только для утверждения своего могущества ему необходимо было властвовать над биржей, и вследствие этого при каждой ликвидации начиналась новая битва, в которой, благодаря непобедимой силе и превосходного количества войска, победа оставалась неминуемо на его стороне.

Всякий биржевой авантюрист не мог не позавидовать тому, что деньги, которыми он ворочал, принадлежали ему, что у него был в подвале собственный неисчерпаемый товар, которым он распоряжался, как хитрый и осторожный купец, как полный хозяин, желающий все сам слышать, видеть и сам распоряжаться. Собственный, употребляемый таким образом миллиард – непреодолимая сила.

Настало время завтрака. Ротшильд из кабинета прошел в столовую. Это была маленькая столовая для утра, где семейство не бывало никогда в полном составе. В этот день их было за столом всего девятнадцать, в том числе восемь человек детей. Банкир занимал место в конце стола, и перед его прибором стояла только чашка молока. Он посидел с минуту, закрыв глаза, обессилив от усталости, с очень бледным и вытянутым лицом; потом поднес дрожащими руками чашку к губам, выпил и глубоко вздохнул:

– Ах! Как я измучился сегодня!..

Но ему не дали даже покойно выпить молоко, потому что прием маклеров возобновился, и теперь вереницей проходили они по столовой, в то время как семья банкира, привыкшая к этой толкотне, – мужчины и женщины – разговаривали смеясь и усердно ели холодное мясо и пирожки, и, возбужденные маленькой рюмкой вина, дети оглушительно шумели”.

Об Ансельме, Соломоне и Карле Ротшильдах, имевших свои банкирские дома во Франкфурте, Вене и Неаполе, я распространяться не буду, желая избежать повторений. И эти трое делали то же самое, что Натан и Джеймс, но в гораздо более ограниченной сфере. В них не было смелой

энергии Натана, не было терпеливой выдержки Джеймса. Даже к миллионам они проявляли гораздо менее страсти, чем их знаменитые братья. Поэтому и состояние, оставшееся после них, сравнительно невелико. Ансельм Ротшильд, умирая, оставил своему племяннику 60 – 70 миллионов гульденов, или на наши деньги около 50 миллионов рублей; Карл долгое время не заводил своего самостоятельного дела, и среди его предприятий нет ни одного выдающегося, грандиозного; венский же дом был, в сущности, отделением парижского. Верные завету отца, братья жили дружно и в важных делах действовали сообща; так, например, на их общие средства были построены несколько главнейших железнодорожных ветвей Австро-Венгрии. Только союз знаменитого финансиста Перейры с бароном Штиглицем помешал им добиться концессии в России. Они умерли в разное время, и каждый из них разменял седьмой десяток. Про них совершенно верно замечено: это были ветви могучего ствола, корни которого гнездились еще в еврейском квартале средневекового Франкфурта. Между годом рождения “честного жида” Майера-Амшеля и смертью его младшего сына, барона Джеймса, прошло 125 лет (1743 – 1868). За эти 125 лет жили и действовали два поколения Ротшильдов, грязная меняльная лавочка превратилась в мировой банкирский дом, сотни талеров – в сотни миллионов. За эти 125 лет не сходит со сцены Ротшильд старого типа, “продолжающий упорно воздвигать свою башню миллионов с единственной мечтой завещать ее своим, чтобы и те продолжали возвышать ее до тех пор, пока она будет господствовать над землей”.

Глава VI. Третье поколение – бароны Ротшильды

Все усилия второго поколения Ротшильдов ушли на наживу. Были накоплены миллионы и десятки миллионов, было приобретено все то могущество, которое могут дать только деньги. Настала пора пользования приобретенным, и эту приятную задачу взяло на себя третье поколение.

При первом же взгляде на его представителей, каждый из которых непременно носил какой-нибудь эпитет, вроде: “покровитель искусств”, “душа общества”, “изящный спортсмен”, “убежденный политический деятель” и так далее, – вы чувствуете, что попадаете в среду совершенно новых людей, имеющих очень мало общего не говорю уже со старым “честным жидом” Майером-Амшелем, но и с его сыновьями, особенно Натаном и Джеймсом.

Эти последние жили в роскошных отелях, имели лучших поваров (например, барон Джеймс – знаменитого Карема), породистых лошадей, виллы в Неаполе и виллы в Биарице; принимали на своих вечерах всю знать, даже членов правящего дома, постоянно бывали во дворцах, обменивались визитами с посланниками иностранных держав, носили титул баронов и баронетов и в то же время каждым своим словом, жестом, поступком показывали, что они не более, как *parvenus*, не отрешившиеся еще от преданий франкфуртского квартала. В них не было ни аристократической выдержки, ни аристократических привычек. Они были грубы и циничны и любили цинизм и грубость. Их миллионы проломали для них просторную брешь во дворцы и знатные гостиные, и они вошли туда, неповоротливые, грубые, часто наглые, – вошли с еврейским жаргоном, со скверными замашками купцов-менял и богатых ростовщиков. Расталкивая публику локтями, наступая всем на ноги, первые Ротшильды при Июльской монархии и империи добрались до самого трона и встали возле него, приветствуемые как столпы отечества, – хотя у них не было отечества; как опора власти, – хотя другой власти, кроме власти денег, они не признавали. Им ничего не стоило протянуть два пальца депутату, грубо оборвать посланника, и они проделывали такие штуки с особенным наслаждением. Они все еще чувствовали себя победителями в завоеванной стране и пользовались своим положением, как может пользоваться им человек, ничего не уважающий, ничего не ценящий. Ловкие и упрямые

дельцы, труженики, не знавшие отдыха, люди без планов и идей – если не считать идеей накопление миллионов, чтобы “быть богачами среди богатых”, как завещал им когда-то Майер-Амшель, – равнодушно относящиеся к стране и народу, среди которого они жили, и даже к собственным единоверцам – они были типичными представителями того поколения буржуазии, которая чувствовала еще ненависть к аристократии и находила удовольствие в том, чтобы унижать ее.

Хронологически они выступили на сцену вместе с Наполеоном. Наполеон провозгласил: “*Le carriere est ouverte aux talents*” – карьера открыта для талантов, или проще: “дорогу таланту!”. При этом победоносном кличе дети сторожей и дворников становились генералами, маршалами и даже, как Мюрат и Бернадотт, не говоря уже о самом Наполеоне и его братьях, – императорами и королями.

Ротшильды были осторожнее, они шли по дороге миллионов, – и правнук великого императора, умерший ничтожным офицером в бесславной стычке с зулусами, мог не без зависти думать о правнуке Майера-Амшеля, члене палаты лордов и пэре английского королевства...

Все было сведено к деньгам. У Ротшильдов нет и не было отечества: их отечество – банкирские конторы, одинаково доходные как в Англии, так и в Китае; у них нет общественных интересов, потому что они выросли вне общества; религия и делание денег – это все, что они признавали неизменно, чего они постоянно держались. Отечество, общество, власть – все это не имеет никакого реального основания для них, кроме денежного.

Третье поколение Ротшильдов, как я уже сказал, несколько иное. Купец, грубо вломившийся во дворцы знати и с ногами развалившийся на бархатном диване, начинает постепенно приручаться. Среди запаха *fine fleur*^[6], красивых женщин, изящных разговоров, слушая разговоры об искусстве, науке, литературе, видя вокруг себя картины старых мастеров и прекрасные статуи, он постепенно цивилизуется. Его сын завел уже себе модный экипаж и шикарную любовницу *en vogue*^[7], меньше или почти совсем не занимается делами, задает тон высшему обществу и, получив хорошее образование, уже чувствует себя своим среди герцогов, графов, маркизов, которые, в свою очередь, называют его своим другом и усердно пожимают ему руку. Старый купец не может еще отказаться от недоверия к знати, он презирает ее за гордость, мешающую занимать направо и налево, за претензии, не основанные на тысячах; но и ему льстит эта близость к сильным мира, ко дворцам и салонам, мимо которых когда-то проходили его дед и отец, робкие, приниженные, боязливые. Надо

реализовать деньги, разменять их на аристократические титулы, брачные связи с родовой знатью, на политическую роль, на титул мецената. Потомки королей биржи сливаются с потомками настоящих королей, рождаются с ними и прибавляют гербы к своим банкирским конторам.

После второго поколения Ротшильдов (см. табл.) остались, как мы знаем, пять могущественных банкирских домов – во Франкфурте, Лондоне, Париже, Вене и Неаполе. Этот последний прекратил свою деятельность тотчас после смерти своего основателя. Дети барона Карла неаполитанского не чувствовали ни малейшего влечения к финансовым операциям и стали вести жизнь богатых частных людей. Их часто можно было встретить в музеях, картинных галереях, они окружали себя художниками и поэтами, собирали коллекции древностей, и ничего, кроме имени, не напоминало в них настоящих Ротшильдов.

Чтобы читатель не растерялся в последующем рассказе, привожу генеалогическую таблицу Ротшильдов, не всех их, а лишь тех, чьи имена упоминаются на страницах этой книги:

Майер-Амшель Ротшильд							
Ансельм (ум. Бездетным)	Соломон (внук — барон Ферди- нанд)	Натан				Карл	Джеймс
		Натани- эль	Лайонэл	Майер	Антони	Альффонс	
			Натани- эль				

Потомство Натана-Майера, этого Наполеона биржи, оказалось более энергичным. Умирая, он оставил четырех сыновей: Натаниэля, Лайонэла, Майера и Антони.

Старший, Натаниэль, не пожелал заниматься делами и удалился в Париж, где жил до самой своей смерти богатым рантье, не ощущая ни малейшего позыва к деланию миллионов. Он был, как рассказывают, человек меланхолического темперамента, с медлительными движениями и разговором, чуждался женщин и чувствовал себя чужим в обществе; хотя перед ним были раскрыты все двери, он редко куда показывался, и собирание старинных монет было единственным его развлечением. Впрочем, и в этом занятии он не проявлял особенной страстности. Он жил и умер незаметно.

Во втором сыне Натана, бароне Лайонэле, ротшильдовская сила, сила старого Амшеля и Гедулы проявилась опять, хотя далеко уже не с прежними блеском и мощью. Несомненно, что из четырех братьев он был

самым способным, и те, верные традиции дома, поручили ему ведение дел. Старший, Натаниэль, как мы только что видели, удалился в Париж и умер, прислушиваясь к его шуму и гулу из окон своего одинокого скучного отеля; младшие, Майер и Антони, избрали дорогу легкой светской жизни. По английскому обычаю, они были членами лучших аристократических клубов и бывали там, где престижно бывать. Громадные средства позволяли им устраивать такие обеды, завтраки и всевозможные parties de plaisir, что даже серьезная лондонская пресса приходила в умиление и посвящала их описанию целые столбцы мельчайшего шрифта, то и дело впадая в восторженный тон. Газета “Times” после смерти барона Майера посвятила ему пространный некролог, из которого мы приведем некоторые выдержки:

“Смерть барона Майера во всех отношениях является слишком ранней. Ему было только пятьдесят пять лет, и он не прошел еще доброй части того пути, который избрал для себя. Он заседал в предыдущем парламенте, но после его роспуска не хотел вновь выставлять своей кандидатуры. Но не парламенту были посвящены его благородные силы. Мир спорта и искусства понесет в его смерти особенно тяжелую утрату, – здесь после него осталось свободное место, заполнить которое нелегко. Роскошное гостеприимство, неистощимая благотворительность, щедрое покровительство искусству, поощрение благородных видов спорта – вот что исчезло вместе с покойным бароном. Он умел распоряжаться деньгами, никогда не останавливаясь перед крупными расходами. Ему было нетрудно сделать из своего имения Ментмор место, устроенное по последнему слову моды и роскоши, но он задумал нечто большее и создал музей, где мы находим образцы всего прекрасного. Той же щедростью отличался барон Ротшильд и в области спорта. С особенной страстью предавался он тренировке лошадей...”

(“Times” вообще подробно и многоречиво останавливается в этом некрологе на благотворной роли миллионеров в современном обществе. По мнению газеты, такие искусства, как живопись и скульптура, не могли бы существовать без меценатов, как и воспитание породистых лошадей.)

“...К тренировке барон Ротшильд относился как истинный эстет. Породистая лошадь имела в его глазах ценность сама по себе. Когда он два года тому назад взял призы на “Дерби”, “Оксе” и “С.-Леджере”, весь свет почувствовал, что он получил достойную награду за свои труды и что ипподром способен возвыситься до своего прежнего, блестящего, положения...”

Обратимся к барону Лайонэлу.



Лайонел Ротшильд

Его отец Натан-Майер дал ему хорошее воспитание, впрочем, чисто специальное и совершенно такое же, какое получил сам. Уже в молодых годах барон Лайонэл ознакомился со всеми тонкостями финансовых операций и постиг тайну делания миллионов. Впрочем, осторожный по своей природе, он и в юные годы не проявлял ни малейшего влечения ни к риску, ни к смелым спекуляциям. Из изречений его отца особенно хорошо усвоил он гласившее: “Трудно наживать деньги, еще труднее сохранять их”. Этому-то сохранению и тому, что может быть названо естественным нарастанием миллионов, и посвятил он все свои силы и свою жизнь. После смерти Натана-Майера он стал во главе лондонского дома, так как, несомненно, был самым способным из своих братьев и любил дело больше любого из них. В его характере еще была значительная доза ротшильдовской энергии, уже значительно ослабевшей в других представителях третьего поколения. По примеру отца он сам руководил всеми делами и довел централизацию в своих конторах до последней степени. Никому не позволял он поступать самостоятельно. Он требовал, чтобы каждое дело восходило лично к нему, как бы незначительно оно ни было. Самодеятельности своих агентов он совершенно не допускал и без сожаления гнал всякого, кто осмеливался поступать по-своему. Он читал все без исключения письма, получаемые в конторе, и на каждое дело ставил свою резолюцию. Сотни бессловесных агентов и помощников окружали

его, и никто из этих сотен не удостоивался даже той чести, чтобы быть спрошенным о мнении. Хорошо ли, дурно ли – барон Лайонэл принимал решения всегда сам: отчасти это было привычкой, отчасти проявлением той глубокой органической недоверчивости к людям, которая характеризовала Ротшильдов вообще. Натан-Майер со своим обычным цинизмом как-то выразился: “Нельзя верить тому, кто вам должен, так как он, очевидно, хочет увильнуть от уплаты; нельзя верить и тому, кто вам не должен, так как он хочет занять у вас”. Как видит читатель, мы имеем в этих словах образчик совершенно особенной классификации людей: на должников и недолжников, причем с ротшильдовской точки зрения ни один из этих разрядов не заслуживает доверия.

Впрочем, раз уже зашла о том речь, надо согласиться, что недоверие и подозрительность Ротшильдов имели значительное основание. Все равно как, для успехов на бирже они сами то и дело должны были прибегать к легальным обманам и разыгрывать ту или другую роль, так же поступали и окружающие их. Я уже рассказывал об эпизоде с банкиром Лукасом, нагло разузнавшим тайну Натана-Майера, но это – эпизод не единственный. Ротшильдов то и дело грабили, и полная история их деятельности заключала бы в себе однообразный и утомительный пересказ десятков и сотен краж, совершенных людьми, не способными устоять перед соблазном миллионов. При жизни барона Лайонэла в парижском доме его дяди Джеймса была совершена грандиозная кража на 32 млн. франков, произведшая на него сильное впечатление, как, впрочем, и на всех. Этот случай еще более утвердил его в мысли, что горе тому, кто доверяется другим. Обстоятельства “дела” следующие.

После открытия Северной дороги место главного кассира было поручено некоему Карпантье, молодому человеку, пользовавшемуся, однако, несмотря на свой возраст, полным доверием Джеймса Ротшильда. Он-то и задумал грандиозное преступление. Набрав себе помощников среди служащих, он стал не торопясь воровать акции и разменивать их. Действовал он очень осторожно, и притом не один, а во главе целой шайки, и в течение одного года похитил из сундуков до четырех тысяч акций на сумму 30 – 32 млн. франков. После этого он решил бежать и явился к Ротшильду с просьбой дать ему отпуск на четыре дня. Ротшильд охотно согласился, даже пустился с ним в разговор, сообщив, что только что обделал выгодное дело, на котором нажил пять миллионов.

– Если моя железнодорожная операция в Алжире, – продолжал банкир, – удастся мне так же хорошо, то я надеюсь к пяти миллионам прибавить еще три.

– Вы их поставите вперед или назад ваших пяти миллионов? – спросил его Карпантье. – То есть, вы положите к себе в карман тридцать пять миллионов или пятьдесят три? Поставьте их впереди и подарите мне пять миллионов, – вам все-таки останется еще кругленькая сумма.

Ротшильд засмеялся на эту шутку, но не согласился подарить пяти миллионов.

– Я не могу, – сказал он, – отдать вам мои пять миллионов; вот возьмите мою цепь от часов, она будет служить вам дружественным воспоминанием о нынешнем деле, доставившем мне столько же удовольствия, сколько прибыли.

Цепь эта имела большую ценность. Карпантье принял подарок, хотя уже обладал большим состоянием, им награбленным. В тот же день он скрылся из Парижа и никакими усилиями его нельзя было отыскать.

Против подобных-то эпизодов барон Лайонэл принял всевозможные меры. Он имел свою собственную полицию и жандармерию, устраивал частые неожиданные ревизии и не приближал к себе никого. Расчетливый и холодный, он, выражаясь метафорически, просидел всю жизнь на своих сундуках, твердо зная каждую данную минуту, сколько денег в его кассах и какие суммы он должен получить или выдать завтра. Он не совершил ни одной смелой или эффектной спекуляции. Почти исключительно он вел дела с правительствами, ссужая их деньгами под верные проценты и верное обеспечение, и пренебрегал предприятиями, если те требовали хотя бы незначительного риска. Между прочим он занимался и политикой, и в сущности он – единственный Ротшильд, составивший себе некоторое имя в стенах парламента.

Программой его политической деятельности было достижение политической равноправности английских евреев, и его борьба в этом деле была успешна. Мы подробно остановимся на ней, потому что она довольно характерна.

В 1847 году барон Лайонэл был избран в палату депутатов представителем от Сити – гнезда английских банкиров и богачей, но места своего в парламенте он занять немог, потому что для этого надо было принести присягу и клятву на Евангелии. Началась агитация в пользу отмены тех слов присяги, которые мешали евреям принимать ее. Первым на этом поприще выступил Джон Россель – тогда первый министр и прославленный оратор. В блестящей речи защищал он права еврейских подданных ее величества, число которых, кстати заметить, достигало в то время 40 тысяч человек; указывал на их богатство, влияние, “любовь к порядку и миру”. В прениях по этому поводу принял, между прочим,

участие Гладстон, высказавшийся в пользу евреев, с чего, собственно, и начался его поворот в сторону либерализма. Нижняя палата приняла билль, но он был громадным большинством голосов отвергнут в верхней, и барону Лайонэлу на этот раз не пришлось заседать в парламенте. Друзья убедили его, однако, продолжать борьбу. На следующих выборах он опять стал кандидатом и получил большинство в 700 голосов. Гордые банкиры и купцы Сити были очень разобижены тем обстоятельством, что их депутата не пускают в законодательное собрание, и на обширном митинге предложили ему “сделать энергичную попытку и отстоять свои несомненные права”. Согласно с этим 26 июля 1850 года барон Лайонэл явился к столу спикера и заявил о своем желании принести присягу, как один из представителей Сити, но “на Ветхом Завете”. Это, однако, ему не позволили, и после горячих дебатов было решено, что “барон Ротшильд, как еврей, не может заседать в палате”.

Странны те детские аргументы, которые выставлялись английскими законодателями против политической равноправности евреев. Указывали, главным образом, на то обстоятельство, что евреи насмеваются над христианством! Напрасно противники указывали на пример Гиббона и Юма, ненавидевших христианство и все же бывших членами палаты, напрасно говорили, что смешно мешать евреям быть депутатами, когда они пользуются уже избирательными правами, – консервативное большинство не хотело ничего слышать. Согласившись несколько десятилетий до того на признание равноправности за католиками, оно тем энергичнее ухватилось за последний окоп, где еще скрывалась религиозная нетерпимость. О других аргументах не было и речи. Национальная ненависть к евреям в Англии, ввиду крайне незначительного их числа, почти не существовала, их экономический гнет одинаково не ощущался, да и что мог он значить сравнительно с гнетом англичан-банкиров и англичан-землевладельцев, переполнявших собою обе палаты.

Борьба затянулась. В 1854 году началась Крымская кампания, и внимание общества было отвлечено от еврейского вопроса, причем все попытки решить его в положительном смысле разбивались об оппозицию лордов. Дело закончилось лишь в 1858 году, и барон Лайонэл занял, наконец, свое место в парламенте, так долго ему не дававшееся. Ему разрешили принести присягу на Ветхом Завете и удалили из формулы слова, служившие камнем преткновения: “...on the true faith of Christians”^[8].

Это единственное громкое дело, с которым связано имя барона Лайонэла Ротшильда. Но и здесь – в cause celebre^[9] своей жизни – он не

проявил ни признака страсти. Все, что можно поставить на его счет, – это холодное упорство и самоуверенную настойчивость, которые позволили ему 11 лет подряд держаться той же цели и в конце концов добиться ее.

Как член парламента барон Лайонэл не проявил себя ничем. Несмотря на свою дружбу с Дизраэли, впоследствии лордом Биконсфильдом, он принадлежал к либеральной партии и обыкновенно подавал голос вместе с нею. Но в качестве оратора он не выступал ни разу, и несомненно, что парламент интересовал его очень мало. Важнейшие реформы последних сорока лет, как-то: уменьшение ценза и увеличение числа выборщиков, введение общеобязательного образования, расширение гражданских и имущественных прав женщины, попытки фабричного и вообще рабочего законодательства, – совершились без его участия. Он был либералом лишь потому, что долгое время в Европе дело либерализма и еврейства шли рука об руку. Либерализм требовал расширения гражданских и политических прав *собственника* – то было выгодно и для еврейства; либерализм восставал против религиозных и национальных предрассудков – это было личное дело еврейства; либерализм боролся с привилегиями аристократии во имя привилегии собственности – еврейство стремилось к тому же. Совершенно естественно поэтому, что барон Лайонэл, его брат барон Майер, его сын лорд Натаниэль – все либералы, чистой воды. Они либералы, потому что евреи и потому еще, что еврейство сравнительно недавно добилось политических прав. Его торжеством в этом отношении был тот момент, когда королева Виктория возвела в достоинство пэра королевства старшего сына барона Лайонэла – Натаниэля. Правнук Майера-Амшеля заседает в настоящее время в английской палате рядом с потомками Сесилей, Нортумберлэндов, Мальборо, Девонширов. К нему обращаются с официальным титулом “mylord”, он передает свое достоинство старшему сыну, он – член гордой могущественной аристократии, презирать и унижать которую было так по душе его деду Натану и Джеймсу парижскому.

Барон Лайонэл умер 3 июня 1879 года почти семидесяти лет от роду. Последние 20 лет жизни он провел прикованным к креслу, страдая неизлечимым ревматизмом. Как и его дядя, барон Джеймс, он был обречен на самую строгую диету и на самый скромный образ жизни. Он почти не знал развлечений. В обществе он не любил бывать и не находил ни малейшего удовольствия в салонных беседах. Изредка в своем роскошном отеле, похожем на музей, задавал он балы и вечера, роскоши которых могли бы позавидовать коронованные особы. Принц Уэльсский, наследник престола, был на них постоянным гостем, также Дизраэли, маркиз

Солсбери и вся высшая аристократия. Какое состояние оставил после себя барон Лайонэл – неизвестно, но по всей вероятности оно достигает невероятных размеров – нескольких сотен миллионов рублей. Мы знаем, что за свою долгую жизнь барон Лайонэл заключил сделок по займам на 160 млн. рублей и в течение 20 лет подряд был финансовым агентом русского правительства: через его руки прошли все русские консолидированные железнодорожные займы; знаем также, что даже в наличном запасе золота его фирма не стеснялась никогда. Однажды он дал в долг английскому правительству на 40 млн. золотых монет, чтобы скупить акции Суэцкого канала.

После его смерти остались три сына: Натаниэль (лорд Ротшильд), Леопольд и Альфред. Оба последние отказались от занятий финансами и поручили все дела своему старшему брату, предпочтя конторским занятиям рассеянную жизнь богатых джентльменов. Они – меценаты искусства, покровители высших видов спорта, страстные любители породистых лошадей, собак и прочего. Роскошь жизни доведена до безумия.

“Английская аристократия, – читаем мы, – напрягает последние усилия, чтобы не отстать от Ротшильдов, и едва ли удачно. Кому под силу прожить в год 30 – 40 миллионов рублей, иметь конюшни, выстроенные из мрамора, освещенные электричеством, коллекции драгоценных картин и статуй, загородные дворцы, роскошные парки для охоты, собственные паровые яхты, всегда открытый прием? Разумеется, очень немногим. Для этого надо быть не просто миллионером, а архимиллионером, какими и являются Ротшильды, для которых миллионные траты оказываются самым обычным делом. Аристократия тянется за ними, – и сколько благородных лордов прогорает ежегодно, взяв на себя непосильную задачу! Ротшильды, задавая тон, ввели в моду не роскошь, а безумие роскоши; их отели – это дворцы калифов; одно время на их вечерах за карточными столами не расплачивались иначе как бриллиантами, и трудно даже предвидеть, до чего может дойти изощрение гордых миллионеров, стоящих на дружеской ноге с коронованными особами”.

Глава VII. Ротшильдиада

Я не буду следить за всеми отдельными представителями дома Ротшильдов. Это было бы утомительно и в сущности бесполезно. Выдающихся чем-нибудь, замечательных Ротшильдов мы знаем, и того, что мы знаем об их личности и деятельности, совершенно достаточно, чтобы попытаться дать общую характеристику семьи, занимающей в настоящее время самое видное место среди капиталистов Европы. Мы проследили ее жизнь в важнейших моментах за период 150 лет, от рождения Майера-Амшеля до настоящего дня, и некоторые обобщения напрашиваются сами собой.

За 150 лет сменились четыре поколения Ротшильдов, и даже последнее из них не показывает ни малейших признаков вырождения. О современном главе самого богатого лондонского дома – лорде Натаниэле Ротшильде – мы читаем, например: “Это прежде всего человек дела (he is in first place a man of business). Он так занят своими миллионными предприятиями, что почти не имеет свободной минуты. Он не ищет ни развлечений, ни удовольствий и чувствует себя как нельзя более счастливым в своей конторе, где играет роль восточного деспота”. Перед нами, как видит всякий, второй барон Лайонэл, безупречный делец, упорный, трудолюбивый финансист, продолжающий воздвигать безумную башню миллионов, без риска и страсти, с осторожной самоуверенностью.



Лорд Натаниэль Ротшильд (современный король европейской биржи)

Могучие организмы старого Майера-Амшеля и Гедулы заключали в себе такой запас жизненной силы, что ее хватило уже на четыре поколения, и неизвестно, скоро ли износится она. С этой точки зрения любопытно посмотреть нижеследующую таблицу продолжительности жизни Ротшильдов:

М.-Амшель	Прожил	69 лет
Ансельм	"	70 "
Соломон	"	77 "
Натан	"	60 "
Карл	"	69 "
Джеймс	"	90 "
Лайонэл	"	67 "
Майер	"	55 "
Натаниэль	"	78 "
Антони	"	66 " и т.д.

В среднем мы имеем продолжительность жизни, равную 70 годам, то есть число, которое очевидно свидетельствует о громадном запасе силы и здоровья. Надо еще заметить, что одним из правил дома Ротшильдов были внутренние браки. Двоюродные братья обыкновенно женились на своих двоюродных сестрах, племянницы выходили замуж за дядей. Таким образом, в жилах Ротшильдов нет чужой крови или примесь ее очень незначительна. Свои силы, здоровье, живучесть они брали, если можно так выразиться, из самих себя, ревниво оберегая свои миллионы от раздела, свою кровь от смешения. Сын барона Лайонэла женился на своей

двоюродной сестре из Парижа, а его дочь вышла замуж за барона Фердинанда, своего двоюродного брата из Вены. Хотя эти браки, с точки зрения европейского законодательства и европейских нравов, являются не чем иным, как кровосмешением, – Ротшильды, однако, до самого последнего времени твердо держались их, и, если не ошибаемся, первым нарушил обычай лорд Натаниэль, выдав свою дочь за нынешнего английского премьера лорда Розберри, самого счастливого из англичан, как его называют.

Известные нам болезни Ротшильдов тоже не имеют ничего общего с вырождением. Сравнительно ранняя смерть Натана-Майера легко объясняется его переутомлением, барон Джеймс страдал катаром желудка, барон Лайонэл – ревматизмом и подагрой. Говорят, что обращение лорда Натаниэля Ротшильда, благополучно живущего еще и теперь, несколько “странно”, но эта странность, то есть излишняя резкость, – не что иное, как результат привычки властвовать, та же забывающая все наглость, которую мы отметили и у Натана-Майера, и у его брата, барона Джеймса.

Поэтому говорить о вырождении дома Ротшильдов – преждевременно. Но если нет вырождения, то известного рода *утомление* от этого постоянного делания миллионов очень заметно. Большинство Ротшильдов отказываются от финансовых предприятий, и чем дальше, тем эти отказы становятся многочисленнее. Все пять сыновей Майера-Амшеля сделали биржевиками и банкирами. Дети барона Карла неаполитанского отказались от накопления и провели свою жизнь, как частные лица, созерцая с балконов своих роскошных вилл, как “солнце пурпурное погружается в море лазурное”. Из четырех сыновей Натана-Майера только один барон Лайонэл делал миллионы, трое же его братьев вели светскую жизнь. После Лайонэла дела его фирмы опять-таки сосредоточились в одних руках – лорда Натаниэля. Совершенно то же самое мы видим в Париже, Вене, Франкфурте. Ротшильдовская энергия достигла кульминационного пункта во втором поколении и с этой поры заметно понижается. Второе поколение выдвинуло на сцену такого гения спекуляций, как Натан-Майер, такого труженика, как Джеймс. После их смерти выступают эпигоны, скорее наблюдающие за ростом своих миллионов, чем созидатели их. Эпикурейство и эпикурейские принципы постепенно вытесняют упрямое трудовое начало, вдохновлявшее сыновей Майера-Амшеля и его самого. Напомню одну удивительную страницу из “Денег” Золя, в которой фигурирует барон Джеймс Ротшильд:

“Саккар продолжал смотреть на Ротшильда, удивляясь, как он медленно глотает молоко и с таким усилием, что, казалось, ему никогда его

не допить. Он был на молочном режиме и не мог даже коснуться ни мяса, ни пирожка. Зачем ему в таком случае миллиард? Женщины также никогда его не соблазняли: в течение сорока лет он был безусловно верен своей жене; а теперь настало вынужденное, окончательно непоколебимое воздержание; к чему же вставать в пять часов, заниматься таким ужасным ремеслом, доходить до страшного утомления, вести каторжную жизнь, на которую не согласился бы ни один нищий, с набитой цифрами головой и готовым лопнуть от забот черепом? Зачем прибавлять к золоту еще бесполезное золото, если нельзя купить и съесть на улице фунта вишен, свести в маленький ресторан на берегу реки встреченную женщину, наслаждаться всем, что можно купить, лениться, быть свободным! И Саккар, понимавший, при своей ненасытной алчности, бескорыстную любовь именно к деньгам за ту силу, которую они дают, чувствовал священный трепет, видя перед собой не классического скупца, который копит богатство, но труженика, без плотских страстей продолжавшего упорно воздвигать свою башню миллионов с единственной мечтой завещать ее своим, чтобы те продолжали возвышать ее до тех пор, пока она будет господствовать над землей”.

Ни об одном из представителей следующих поколений Ротшильдов нельзя уже сказать того же самого. Перед нами эпикурейцы, усвоившие себе образ жизни и привычки высшей европейской аристократии, ее пороки, ее безумную роскошь, ее меценатские замашки. Покровительство искусствам, особенно живописи и скульптуре, филантропия, спорт – вот обычные занятия Ротшильдов, отступивших от трудовой традиции дома. Как здоровые люди, они жадно наслаждаются жизнью и всем тем, что им могут дать миллионы. Пресыщение коснулось лишь немногих из них. Мы знаем, например, что старший брат барона Лайонэла, Натаниэль, страдал меланхолией и прожил свою долгую жизнь в Париже почти в полном одиночестве. Между прочим, очень замечательна та черта, что те из Ротшильдов, которые не ведут дела, обыкновенно остаются безбрачными.

Я уже говорил выше, что Ротшильды очень неоткровенны с публикой и не допускают никого в свои семейные архивы. Поэтому процесс нарастания их миллионов может быть разъяснен приблизительно. Точно так же приблизительно можем мы ответить на вопрос о размере их состояния. Мы знаем, что Ансельм франкфуртский завещал своему племяннику Вильгельму 50 млн. рублей золотом; Джеймс оставил после себя от 300 до 400 млн. рублей золотом; Натан – приблизительно столько же; Соломон – от 100 до 150 млн. рублей золотом; Карл – 65 млн. Следовательно, к третьему поколению перешло всего от 800 до 1000 млн.

рублей золотом. С той поры прошло сорок лет остроумных и удачных операций. Какая же сумма находится в руках Ротшильдов? Можно только утверждать, что эта сумма грандиозна и должна быть выражена в тысячах миллионов, что особенно внушительно, если мы заметим, что Ротшильды, в сущности, немногочисленны. Никак не более 50 человек носят эту фамилию, а основная сумма сосредоточена в руках 10 – 12 лиц.

Как составила́сь эта золотая вавилонская башня, мы уже знаем. Но полезно будет перечислить в одном месте все источники нарастания и делания миллионов. Гессен-кассельские деньги послужили основанием для золотой пирамиды. Затем последовали *торговые операции*, из которых торговля хлопком оказалась особенно выгодной. В то же время фирма перешла к тому делу, которое создало ее политическое могущество и переполнило ее кассы. Это дело – *устройство и реализация государственных займов*. К 1850 году в Европе не было правительства, которое не состояло бы в денежных обязательствах к фирме Ротшильдов. В 1849 году, как мы уже знаем, произошел перелом; правительства по возможности стали избегать посредников и устраивали внутренние займы, более для них выгодные, однако эта перемена лишь ослабила, но не парализовала деятельность фирмы. Барон Лайонэл в течение 44 лет заключил займов почти на два миллиарда франков. *Железнодорожная горячка* 50-х и 60-х годов, – горячка, создавшая Вандербильдтов и Гульдов в Америке, Гудзонов – в Англии, Штиглицов, Варшавских и Поляковых – в России, – оставила после себя громадные суммы в сундуках Ротшильдов. Они почти монополизировали железнодорожное дело в Австрии, провели тысячи верст путей во Франции, Турции. Путешествуя по Европе, мы то и дело с одной линии, принадлежащей Ротшильдам, переезжаем на другую, им же принадлежащую линию. Вена – Граница, Париж – Версаль, Париж – Люттих – в сущности, их личная собственность, так как они являются главными заправками и акционерами. *Промышленными предприятиями* стал заниматься уже Натан-Майер. Мы знаем его ловкую операцию с ртутными приисками. Теперь у Ротшильдов богатейшие золотые прииски в Гвиане, алмазные копи в Бразилии, нефтяные фонтаны у нас на Кавказе и так далее. *Спекуляции на городские земли*, особенно в Париже, дали Ротшильдам не один миллион. Эти спекуляции были особенно выгодны в пятидесятых годах нашего столетия, когда развитие городской жизни за счет деревенской достигло неслыханных размеров. Париж, Лондон, Вена перестраивались, заселялись. Участок, стоивший сегодня 100 рублей, завтра продавался за 200 – 300 рублей. Возьмите хотя бы одну только Англию:

		В 1831 году	В 1890 году
В Бирмингэме	было	140 000 жителей	500 000 жителей
Ливерпуле	”	165 000 ”	620 000 ”
Манчестере	”	230 000 ”	645 000 ”
Лондоне	”	1 655 000 ”	4 500 000 ”

Следовательно, в важнейших городах Англии в течение 60 лет население возросло втрое. То же мы видим по всей Западной Европе. Но ведь каждый новый житель увеличивает ценность городской земли и заставляет застраивать пустоши. Спекуляторы воспользовались этим, и земельные участки также продавались и покупались на бирже с “повышением и понижением”, как простые акции. Ротшильды и здесь не упустили своей доли – по обыкновению, лавиной. Но *только игра бумажными ценностями на бирже* может объяснить нам поразительно быстрый рост капиталов фирмы. Натан-Майер хвастался, что в течение пяти лет он увеличил свой капитал в 2500 раз. Сражение при Ватерлоо дало ему возможность нажить миллионы. Уверяют, что спекуляция акциями Северной дороги доставила барону Джеймсу парижскому от 70 до 100 млн франков.

Таковы источники. Но ведь этими источниками могли пользоваться все, пользовались и в действительности многие, а между тем дом Ротшильдов – единственный в мире, и даже американские богачи Гульды, Вандербильты, Асторы не могут идти в сравнение с ним, когда встанет вопрос о сумме денег. Чем объяснить эту исключительную удачу? Умирая, Майер-Амшель завещал сыновьям, собравшимся у его изголовья: “Не изменяйте вере отцов своих, будьте всегда дружны и действуйте сообща, и вы будете богачами среди богачей земли”. 80 с лишним лет прошло со дня смерти Майера-Амшеля, а завещанные им правила блюдутся твердо и нерушимо. Ни один из Ротшильдов не принял христианства, и они довели свою исключительность до того, что до последнего времени, как мы только что это видели, держались системы внутренних браков. Они действовали всегда дружно, всегда подчиняясь в важных делах одному общему главнокомандующему, причем право первенства давал не возраст, а способности.

Сначала таким главнокомандующим был Натан-Майер, которому охотно подчинялись его старшие братья, Ансельм и Соломон, затем Джеймс парижский, барон Лайонэл, и, наконец, в настоящее время армией ротшильдовских миллионов командует лорд Натаниэль лондонский. Эта централизация позволила фирме усвоить чисто наполеоновскую политику. Излюбленным приемом Наполеона было, как известно, сосредоточение

почти всей артиллерии на слабом пункте противника, куда после образования бреши и бросались все его полчища. Совершенно так же поступают и Ротшильды. В случае биржевого кризиса или просто замешательства они пускают в ход свои бесчисленные миллионы, и победа очевидно остается на их стороне. В течение всего XIX века им пришлось три раза отступить перед дружным натиском нескольких банкирских домов, заключавших между собою “оборонительный и наступательный союз”, но обыкновенно им приходилось действовать, имея перед собою разрозненных противников. Тем легче и вернее бывала победа, тем крупнее трофеи, полученные ими.

Надо, кроме того, признать за Ротшильдами ту справедливость, что, как капиталисты и миллионеры, они проявляли всегда большую сдержанность. Между ними до сей поры не было ни одного мота. Они проживают миллионы, быть может, даже десятки миллионов ежегодно, но их расходы всегда меньше их прибыли. Дворцы, виллы, картинные галереи, коллекции редкостей, балы и рауты, спорт и охота не могут нарушить их бюджета, который постоянно растет. Прожигать жизнь не в их характере, не в их натуре. В них и до сих пор сохранилась еще мелочная грошовая расчетливость франкфуртских менял, которая зачастую переходит в скардность и скупость. Самым типичным в этом отношении является барон Джеймс, проверявший все счета до последнего сантима. О подвигах Ротшильдов, подобных тем, которыми прославляли себя русские *prinse*’ы за границей и у себя дома, – совершенно не слышать. Сама филантропия у них расчетлива и благоразумна и, в сущности, выгодна для них, так как делает их популярными. Грандиозное, утопическое не в их натуре, и поэты, как мы это сейчас увидим, совершенно напрасно приписывали им грандиозные идеи. Они не более как умные, осторожные банкиры, ловко пользующиеся обстоятельствами. Их сила не в гении, а в миллионах, которые *постоянно находятся в одних руках*.

Существует ли на самом деле ротшильдовская утопия? Выдумать такую и поверить в нее – слишком соблазнительно, чтобы попытки подобного рода не повторялись постоянно. На самом деле они многочисленны.

Капризный, как женщина, и увлекающийся, как ребенок, Гейне сравнивает Ротшильдов с Маккавеями. Библия, обращаясь к евреям, говорит: “Вы не будете рабами никогда, так как породили Маккавеев”. Эти слова и эту мысль германский поэт применяет к Ротшильдам. Их власть, могущество, их миллионы для него – залог будущей свободы, равноправия и, быть может, даже владычества еврейства над миром. В своенравном и

наглом биржевике Натане, в скаредном бароне Джеймсе он непременно хочет видеть героев, созидających башню миллионов во имя торжества национальной еврейской идеи. Но, к счастью, отвратительная и вредная мечта Гейне о Маккавеех-миллионерах лишена всякого действительного основания. Нет людей более равнодушных к каким бы то ни было идеям, чем Ротшильды. Ни одной искры небесного огня не заметно в их деятельности. К еврейскому делу они относятся совершенно так же, как ко всякому другому, и если барон Лайонэл получил, наконец, место в палате депутатов, то виноваты в этом прежде всего те, кто стояли за ним – Россель, Дизраэли, Гошен, Гладстон и т. д. Когда несколько лет тому назад Ротшильдам предложили сделать пожертвование для образования еврейского государства – они отказались. За это дело взялся барон Гирш и в большей или меньшей степени удачно приводит его в исполнение. Ротшильды – просто миллионеры, миллионеры-космополиты, в деятельности которых национальные симпатии не играют ровно никакой роли. Они не знают другой цели, кроме той, которая была завещана им старым Майером-Амшелем: “Быть богаче богачей земли”.

Другая утопия, еще более грандиозная, чем утопия Гейне, изобретена Буажильбером. Его книга “La chute de la Civilisation” смело может быть названа одной из самых меланхолических книг, когда-нибудь выходявших из-под печатного станка. Она вся продиктована ужасом перед торжествующим ходом капитализма, перед грандиозным ростом миллионных состояний. Капиталы постепенно сосредоточиваются в одних руках. Мелкая промышленность, мелкая торговля исчезают. Могущественные банкирские фирмы властвуют над миром, готовые, однако, ежеминутно поглотить одна другую. Чем же кончится все это? Тем, отвечает Буажильбер, что в конце концов весь мир будет подчинен одному капиталисту, архимиллионеру, живущему в золотом дворце. Буажильбер разумел в данном случае потомка Ротшильдов.

Оспаривать идею Буажильбера совершенно бесполезно. Она очень однобока и, основываясь лишь на одном круге явлений, совершенно не принимает во внимание другого. В жизни рядом с процессом объединения капитала идет другой – объединение труда, и будущее покажет, что победит: сундуки, набитые золотом, или живые люди с сознанием правды и справедливости в душе.

Оставляя поэтому в стороне все ротшильдовские утопии, как праздные измышления, мы можем теперь спросить себя, что же нового дала человечеству знаменитая фирма, какой принцип проводила и проводит она в жизнь?

Ротшильды – порождение девятнадцатого века. Сто, двести лет тому назад такой поразительно быстрый рост частных капиталов был бы невозможен. Чтобы создать башню миллионов, нужна была биржа, капиталистическая крупная промышленность, беспрестанные общеевропейские войны, условия жизни, приспособленные к быстрой наживе, нравы, окружающие почетом богачей, и законы, дающие этим богачам полноту прав гражданских. Ротшильды – самые типичные представители века наживы, спекуляции, разнузданного всепожирающего эгоизма. Мещанские принципы, мещанская мораль – это их принципы, их мораль. В чем же тут дело?

“Купец – человек мира, а не войны, упорно и настойчиво отстаивающий свои права, но слабый в нападении; расчетливый, скупой, он во всем видит торг и, как рыцарь, вступает с каждым встречным в поединок, только мерится с ним – хитростью. Его предки – средневековые горожане, спасаясь от насилий и грабежа, принуждены были лукавить; они покупали покой и достояние уклончивостью, скрытностью, сжимаясь, притворяясь, обуздывая себя. Его предки, держа шляпу и кланяясь в пояс, обсчитывали рыцаря: качая головой и вздыхая, говорили они соседям о своей бедности, а между тем потихоньку зарывали деньги в землю. Все это естественно перешло в кровь и мозг потомства и сделалось физиологическим признаком особого вида людского – называемого средним состоянием.

Пока оно было несчастно и соединялось со светлой частью аристократии для защиты своей веры, для завоевания своих прав, оно было исполнено величия и поэзии. Но этого хватило ненадолго; Санчо-Панса, завладев местом и запросто развалясь на просторе, дал себе полную волю и потерял свой народный юмор, свой здравый смысл; вульгарная сторона его природы взяла верх.

Под влиянием мещанства все переменялось в Англии. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы – нравами чинными, вежливость – чопорностью, гордость – обидчивостью, парки – огородами, дворцы – гостиницами, открытыми для всех (то есть для всех, имеющих деньги).

Прежние, устарелые, но последовательные понятия об отношениях между людьми были разрушены, однако новый тип настоящих отношений между людьми не был открыт.

Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий – хранить и увеличивать свою собственность; флаг, который поднимают на рынке для открытия торга,

стал хоругвью нового общества. Человек de facto сделался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег.

Политический вопрос с 1830 года делается исключительно вопросом мещанским, и вековая борьба высказывается страстями и влечениями господствующего состояния, жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки – редакции журналов, избирательные собрания, камеры. Англичане, например, до того привыкли все приводить к лавочной номенклатуре, что называют свою старую церковь “Old Shop” (“старая лавочка”).

Все партии и оттенки мало-помалу разделились в мире мещанском на два главных стана: с одной стороны – мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой – неимущие мещане, которые хотят вырвать из рук их достояние, но не имеют силы, то есть с одной стороны – скупость, с другой – зависть. Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, то есть собственности или места, и естественно переходит со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как качка парламентских прений, – она дает движение и пределы, дает вид дела и форму общих интересов для достижения своих личных целей.

Вот уже четыре столетия, как купец, буржуа правит Европой – последние 50 лет почти безраздельно. Дух узкого, мелочного и себялюбивого утилитаризма, дух соревнования, жажда денег и успеха – вот что внесено им в народную жизнь. Каждый за себя. Успех оправдывает все.

Купец заискивает перед аристократией, подражает ей в обстановке, одежде, даже убеждениях – и в то же время он постепенно проглатывает ее: “С вашего позволения, милорд, я оберу вас”.

Эта-то купеческая мораль и воспринята полностью Ротшильдами. Мы видели, как они сначала будировали перед аристократией и как дружно живут они с ней теперь. Их революционная роль, роль *parvenu*, выходцев из мути еврейского квартала, сыграна. Лорд Ротшильд – самый типичный из английских лордов наших дней. Как Бриэнн сказал когда-то: “Я ношу мое право на конце меча”, – так милорд Натаниэль может перефразировать это и сказать: “Мое право – в моих сундуках и подвалах”.

Образчиков этой морали “сундуков и подвалов” так много приведено в нашей книге, что не знаю, надо ли напоминать их читателю. Знаменитая спекуляция Натана-Май-ера после Ватерлоо, игра акциями Северной

дороги, так беззастенчиво проведенная бароном Джеймсом, и десятки подобных фактов, безусловно, не имеют ни малейшего отношения к самой элементарной человеческой нравственности. Кант требовал, чтобы каждый человек руководствовался такими правилами, которыми могли бы руководствоваться все без исключения. Любопытно было бы посмотреть на жизнь человечества, если бы мораль из-за прилавка стала общераспространенной: мы бы увидели в таком случае картины, нарисовать которые не в состоянии самое необузданное развратное воображение.

Но довольно о нравственности. Несомненно, что самой интересной стороной ротшильдиады является приобретение банкирской фирмой политического могущества и значения. Я говорю, что это интересно, хотя странного и необыкновенного во всем этом решительно ничего нет. В Новой Европе сила денег всегда давала себя чувствовать и в кабинетах министров, и в стенах парламентов. Были эпохи, когда подкуп (bribery), возведенный в систему, являлся главным рычагом политической жизни страны. Нам доподлинно известно, что этим путем действовали и Ротшильды. При спекуляции акциями Северной железной дороги барон Джеймс парижский проявлял необычайную щедрость. Журналисты, депутаты, министры были подкуплены им. Каждому, смотря по чину и званию, давал он столько-то и столько-то акций, чтобы заручиться сочувствием и голосами. В результате на его стороне оказались оба законодательные корпуса и приближенные императора. Натан-Майер, презиравший журналистику, одинаково не брезговал ее продажными элементами, хотя с лондонской прессой и было труднее вступать в сердечные соглашения, чем с парижской; как бы то ни было, у англичан *en masse* все же больше собственного достоинства и выдержки, чем у французов.

Я рассказывал о падении Тьера, вызванном бароном Джеймсом, о зависимости королей и министров от могущественной фирмы, которая могла дать и не дать денег по усмотрению. Повторять все это излишне. Напомню лишь то, что Натан-Майер пользовался своими миллионами, чтобы расхолаживать реформаторский пыл правительств, если таковой овладевал ими. Для его узкого торгашеского ума было очевидно, что реформы ведут к революции, а раз появился призрак революции – кредит должен быть прекращен.

Подкуп и займы – вот что обеспечивает фирме Ротшильдов ее политическое могущество. В разыгравшейся несколько лет тому назад панамской истории нет ничего нового. *Es ist – поистине – eine alte*

Geschichte^[10], случайно выплывшая на свет Божий, после того как десятки таких же историй благополучно скрылись в прошлом. Если бы можно было разоблачить все “панамы” – история XVIII и XIX веков лишилась бы, пожалуй, своих последних, и так уже немногочисленных, декораций.

Мы должны, однако, сделать шаг вперед и сказать, что если бы Ротшильды и не прибегали к подкупам, не устраивали бы даже займов – их политическое могущество было бы почти на том же уровне просто потому, что в их сундуках лежат миллионы. Просмотрите с точки зрения денег хотя бы политическую жизнь одной только Англии. Чтобы быть избирателем, надо иметь ценз, то есть быть собственником. Чтобы быть депутатом, ценза, положим, не требуется, но без серьезного материального обеспечения и в данном случае обойтись невозможно. Надо истратить деньги на выборы, надо жить чем-нибудь – и отнюдь не как-нибудь – во время сессий, потому что депутат не получает жалованья. Чтобы быть министром, надо быть богатым человеком, так как министры берутся из числа людей, исключительно посвятивших себя политической деятельности, по закону неоплачиваемой. Мало того: миллионы дают вам право на получение наследственного аристократического титула. В течение XIX века место первого министра в Англии занимали около 20 лиц, все они, за исключением Гладстона, были миллионерами. Напомню хотя бы самые известные имена: Питт, Веллингтон, Мельбурн, Грей, Пиль, Каннинг, Дизраэли, Дерби, Россель, Палмерстон, Солсбери. Почти все они лорды, все же без исключения богачи. Из 670 депутатов английского парламента 1886 года было:

- Землевладельцев 72
- крупных арендаторов 58
- фабрикантов 57
- купцов 36
- банкиров 27
- владельцев копей 27
- рантье 114
- то есть 394 человека собственников.

Состав французской палаты депутатов совершенно такой же: преобладание собственников, фабрикантов, банкиров над людьми труда и профессий одинаково поразительно.

Если же все это так, то было бы просто аномалией, если бы Ротшильды не играли политической роли. Они – богачи среди богачей, они – собственники из собственников, банкиры, землевладельцы, фабриканты – являются как бы символом нашего строя, а их права, преимущества и

привилегии так же дороги им самим, как и всем подвизающимся на том же пути. Они – свои люди во дворце Луи Филиппа, желанные гости за столом императора Наполеона, господа в палатах, где первую роль занимают Корнелии Герцы, Рейнаки, Вильсоны, Рувье.

Секрет всего этого – власть денег.

Грандиозная башня миллионов создана. С быстротой усовершенствованной техники века пара и электричества, железных дорог и телеграфов выросла она на глазах четырех-пяти поколений и стоит величественная, ужасающая, притягивая к себе, как магнит, целые потоки золота со всех концов мира. Сотни и тысячи людей работают над сооружением гигантской золотой пирамиды, перед которой гробницы Хеопса и Хефрена кажутся ребяческой забавой! Каторжники Гвианы, негры на бриллиантовых россыпях Бразилии, персы и турки у нефтяных фонтанов, шотландские углекопы в сырых подземельях, выходцы из Европы на хлопчатобумажных плантациях Америки, дети и внуки убийц в равнинах Австралии, суетливые агенты столичных бирж – все служат Ротшильдам, все тратят свою изобретательность, свою мускульную силу на то, чтобы золотая башня становилась все выше, и никто не знает, остановится ли когда эта гигантская работа поколений. Миллионы порождают миллионы, их накопились уже сотни, но Ротшильды, как и сто лет тому назад, продолжают свое дело с упорством и энергией, без страсти и торопливости, без идей, без утопий, без порывов. Без искры вдохновения строят они свое золотое капище, посвященное всемогущему богу современности.

Их могущество вызывает удивление, будит дурные страсти и вместе с тем обуславливает почти общую покорность. Я сказал *почти*, и в этом маленьком слове, быть может, скрывается залог лучшего будущего.

Еще недавно мы присутствовали при нескольких поразительных сценах во французской палате депутатов. Мы видели эту палату униженную и загрязненную панамской историей, пристыженную неслыханным всемирным скандалом; представители народа и его законодатели едва осмеливались показываться на улице, боясь услышать от раздраженной толпы гнусное прозвище “вор”. Настали дни искупления; в порыве проснувшейся чести палата решила пожертвовать сама собой и откровенно показать свою язву, чтобы все видели, что у нее есть, по крайней мере, мужество. В эти дни погибли десятки репутаций, почтенные деятели были изгнаны с позором, как уличенные во взяточничестве, и раздалось, наконец, то слово, которого так давно и с таким нетерпением ожидала страна. Это слово принадлежало второстепенному депутату, но с

быстротой электрического тока облетело оно всю Францию и было встречено повсюду как предвестник новой эры и новой жизни. В небольшой сильной речи Кавеньяк без всяких укрывательств, намеков, смягчений указал на гангрену современной политической жизни республики, которая не без основания считает себя передовым батальоном человечества. Имя этой страшной болезни, разрушающей лучшие ткани народного организма, – продажность (venalite) и наглое, бесстыдное господство мешков, наполненных золотом. Все продажно: слово, перо, убеждение, министерский портфель, семья, учреждение. Можно купить депутата и журналиста с такую же легкостью, с какой покупают на бульварах публичную женщину. Человек не в силах бороться и не хочет бороться с соблазнами богатства и житейских наслаждений, он жадно смотрит кругом себя, чтобы ухватить приличный куш и завертеться в вихре удовольствия...

“Так жить нельзя”, – закончил Кавеньяк свою речь, и в дни искупления, дни пробудившейся совести эти простые слова сыграли историческую роль. Слыша их, все как будто присутствовали при той знаменитой сцене, когда огненная рука написала слова угрозы и гибели на покрытых пурпуром стенах вавилонского дворца. Так жить нельзя; нельзя отдавать все свои силы на братоубийственную борьбу; нельзя с гордо поднятой головой идти к почестям и известности, попирая ногами трупы усталых, измученных, погибших неудачников; нельзя мерить деньгами любовь, счастье, уважение, честь; нельзя торговать своею совестью; нельзя забывать, что есть совесть у человека... Деньги – не все, есть еще справедливость, есть правда, чувство собственного достоинства. Это не просто слова, потому что без них не существовала еще человеческая жизнь и не может существовать. К постыдной смерти, полному духовному вырождению, к невыразимой тоске, к торжеству скотских инстинктов ведет исключительное преклонение перед золотом. И разве не доказало оно уже своей несостоятельности? Посмотрите на эту шумную толпу, посмотрите на нее внимательнее, и вы увидите, что в ней едва ли есть один,

*Тяжелой думой не измятый,
До преждевременных добравшийся морщин
Без преступленья иль утраты...*

Разве не начинает уже, пусть робко, пусть заглушаемая ревом золотого тельца, звучать проповедь любви, и вместо торжествующего “всякий за

себя, дорога – сильному” разве не слышим мы настойчивого призыва к дружбе, взаимности? Человечество устало от кипучей деятельности накопления, оно измучилось в погоне за земными благами, и, кто знает, быть может недалек тот день, когда люди опять вспомнят великие слова Овидия:

*Prona que quum spectent animalia cetera terram
Os homini sublime dedit coelum que videre jussit
Et erectos ad sidera tollere vultus.*

[\[11\]](#)

Дай Бог!

Приложение

О бирже, биржевой игре и спекуляциях

Предыдущее исследование должно было убедить читателя, что главная масса ротшильдовских миллионов собрана на бирже. Здесь барон Натан-Майер за пять лет увеличил свой капитал в 2500 раз, здесь барон Джеймс сыграл свои “ловкие штуки” с алжирским займом и акциями Северной железной дороги, здесь же одерживали свои блестящие триумфы другие главы ротшильдовских банкирских домов. Любопытно будет поэтому повнимательнее присмотреться к этому знаменитому учреждению – бирже, ее обычаям, нравам и шумной суетливой деятельности, создающей с быстротой молнии громадные состояния и разрушающей их в одно мгновение.

Биржи в настоящее время существуют повсюду, где только происходит торговля. На Западе каждый мало-мальски значительный город или местечко имеет одну или несколько бирж – то есть здание, где в определенные часы происходят встречи между купцами и совершаются торговые сделки. В этом смысле, то есть как собрания лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, биржа появилась очень давно, еще задолго до конца средневековой эпохи, вероятно, в XII или, самое позднее, XIII столетии. Само слово “биржа” (фр. bourse, нем. Borse) означает не что иное, как “сборище”. Некоторое же подобие своей современной организации биржи получили в XII веке. Германские северные (то есть вольные, торговые) города, а затем и внутренние, многие города во Франции, Италии и Англии постепенно, один за другим, открывали у себя биржи для товарных оборотов по международной торговле с заморскими странами. У нас, в России, первая биржа появилась, по приказанию правительства, в начале прошлого века. Петр Великий во время своего пребывания за границей, ознакомившись с тамошними биржевыми учреждениями, вполне естественно пришел к убеждению о необходимости завести их и у себя, в России. В 1721 году появился “Регламент для главного магистрата”, в 18-й главе которого говорится: “Такоже надлежит в больших приморских и прочих купеческих знатных городах, со временем же в удобных местах, недалеко от ратуши (думы) построить, по примеру иностранных купеческих городов, биржи, в которые бы сходились торговые граждане для своих торгов и постановления векселей, також и для

ведомостей о приходе и отпуске кораблей и коммерции (товаров): понеже в таком месте каждый купец и продавец в один час по вся дни может найти тех, с которыми ему нужда есть видетися”.

Регламент как нельзя лучше объясняет цель и смысл существования биржи. Ничто не может быть невиннее, полезнее, удобнее. Торговым людям отводится место, где они могут встречаться друг с другом, разузнавать о прибытии или отправке кораблей, заключать сделки, расплачиваться по векселям и учитывать их. В такой бирже нет ничего таинственного и непонятного; вся ее деятельность перед нами как на ладони, и решительно не видно, откуда мог появиться своеобразный биржевой жаргон с символическими терминами вроде *курс*, *повышение*, *понижение*, *арбитраж* и так далее, – терминами, определяющими созидание и разрушение миллионов.

Чтобы биржа из “собрания людей, занимающихся коммерческой деятельностью”, обратилась в место, где происходит игра гораздо более азартная, чем в Монако, где сосредотачиваются порою судьбы народов, войны, мира, реформ, – нужно было лишь одно условие: *деньги должны были превратиться в товар, такой же, как хлеб и сало, и подвергаться таким же колебаниям в цене, как и все прочее, появляющееся на рынке.* Каким путем это случилось, мы сейчас увидим.

Средние века не знали бумажных денег и обходились при помощи золотых и серебряных монет, право чеканить которые принадлежало владетельным князьям, герцогам, графам, баронам. Каждая монета стоила столько, сколько весила. Случалось, что какой-нибудь промотавшийся владетельный князь, граф или герцог чеканил монету низшего достоинства или меньшую весом и объявлял ее принудительный курс. Но на рынок, особенно внешний рынок, подобные распоряжения не оказывали ни малейшего влияния. Все равно как теперь в Англии в каждом магазине есть весы, на которых проверяется достоинство золотых монет, – так было и в средние века. Бумажные деньги – изобретение очень позднее. Впервые они появились в Англии, в конце XVII века (1699 год), в виде билетов государственного казначейства (*exchange bills*). Ничего, кроме хорошего, на первых порах не предвещали эти билеты, которые в каждую данную минуту можно было разменять на золото. Они удовлетворяли потребность возрастающей торговли в денежных знаках, облегчали их пересылку и вообще доставляли торговым людям массу удобств. Они были не больше как векселя, но выданные не частным лицом, а учреждением и, разумеется, на предъявителя. Но главная их роль заключалась в том, что они помогли пустить в оборот залежавшиеся у частных лиц капиталы. Для примера

возьмем Францию.

В первой четверти прошлого столетия, в развратную эпоху регентства, когда жажда наживы, наслаждения достигла “высокой степени безобразия”, в Париже появился ловкий и, пожалуй, даже замечательный финансист, шотландец Джон Лоу. Он быстро втерся в доверие регента, министров и их любовниц и задумал поистине грандиозное дело: собрать вместе все или по крайней мере большую часть денег Франции в кассах своего банка и пустить эти миллионы в оборот. Мы доподлинно не знаем, что он замышлял, но, по-видимому, он лелеял мысль о том, чтобы захватить в свои руки всю торговлю с Востоком, разбудить Индию, Китай, Японию и сделать Францию центром мировой торговли. Несмотря на свою горячую фантазию, он, вероятно, осуществил бы свои планы, если бы общество не изменило ему в самую решительную минуту. Лоу прибегнул к бумажным деньгам: он выпускал их целыми грудами, на десятки и сотни миллионов. Ему верили, им увлекались, и целые возы золота привозились к нему, чтобы разменять их на бумаги. Лоу давал премию: бумажный франк стал стоить дороже, чем металлический, и все торопились запастись драгоценными билетами, цена которых шла в гору. Ажиотаж охватил все классы общества. Скромные буржуа выкапывали свои кубышки из земли и несли в банк сбережения целых поколений; аристократы закладывали свои фамильные драгоценности, чтобы достать золота, а через него – магические билеты Лоу, которые каким-то чудным образом превращали 100 франков в 110, в 120 и так далее. Дела Лоу шли превосходно, он уже собрал нужные ему миллионы и рассчитывал приняться за те планы, осуществление которых обещало ему и всем его клиентам громадные прибыли. Но он плохо сообразил, с кем имеет дело. Перед ним были люди, возбужденные, жадные, с глазами, затуманенными жаждой наживы; он не понимал, что это – стадо, подверженное беспричинной панике. Она-то и случилась, – как и почему, сказать трудно. Очень может быть, что враги и завистники Лоу распустили слух, что его дела пошатнулись; очень может быть, что недоверие само овладело публикой, – как бы то ни было, начался отлив. Сигнал был подан самим герцогом Орлеанским и придворными. Как раньше они привозили к Лоу фургоны золота и получали бумажки, так теперь они приносили бумажки и увозили фургоны с золотом. Лоу мужественно держался до последней минуты, но против паники средств нет. Его сундуки быстро опустели, груды магических, ненужных уже бумаг валялись в его банке, а требования размена все возрастали. Лоу бежал: он оказался калифом на час. Премия, которую он платил и которая должна была окупиться торговлею и промышленностью, погубила его. “Гибель

одного прокладывает путь другим”. По дороге, открытой Англией и Лоу, вскоре пошли все европейские государства: все стали выпускать бумажные деньги и обязательства разных наименований. Появляясь на рынке в громадном количестве, эти бумажные деньги подвергались постоянным и сильным колебаниям в своей цене. Причина колебания понятна. На самом деле кредитный билет, ассигнация и прочее являются не более как векселем, который выдается правительством или компанией частному лицу. Если правительство или компания богаты, если дела их идут хорошо, они в состоянии уплатить по своим обязательствам и даже наградить своих кредиторов прибылью (дивидендом) за доверие. Если, скажем, выпущены акции для разработки приисков, и вдруг эти прииски оказываются неизмеримо более богатыми, чем предполагалось, то акции непременно повысятся в своей цене, в противоположном случае – понизятся.

Устойчивую цену бумажные деньги вначале не имели. Государства злоупотребляли ими и выпускали их в гораздо большем количестве, чем в состоянии были уплатить. Постоянные войны, бесчестное управление и тому подобные причины выбрасывали на рынок груды бумажных денег, и дело доходило до того, что, например, в дни французской революции за луйдор – 20 франков золотом – платили 3 тысячи франков ассигнаций.

Трудно себе представить, какой толчок развитию биржевого дела дали бумажные деньги. Они были не более как товаром, без определенной цены, которая могла повыситься сегодня и упасть завтра. Все зависело от обстоятельств. Все равно как на хлебной бирже цена на хлеб сразу поднимается в случае известий о неурожае, так и на фондовой денежной бирже бумажный рубль может стоить и 90 коп. золотом, и 50 коп. золотом, смотря по тому, в каком положении дела правительства, выпустившего этот рубль. На рынке правительство рассматривается совершенно так же, как частный человек. Достойно ли оно доверия? Аккуратно ли расплачивается по своим векселям? Не ожидает ли его какая катастрофа?

Колебание цены бумажных денег и всевозможных других бумажных ценностей и создали биржевую игру. В сущности, ничто не может быть элементарнее, проще и вместе с тем и удивительнее. Денежная биржа не создает ничего, она только перераспределяет деньги, перекладывая их из одного кармана в другой, все равно как в карточной или другой азартной игре. Прделаем с читателем для примера две главнейших операции: сыграем сначала на наличные (на бумаге наличные у нас, разумеется, есть), а потом – на срок.

С самого начала я должен, впрочем, предупредить, что на наличные в настоящее время почти никто не играет, так как “игра свеч не стоит”. Но

мы, как люди неопытные, можем отступить от обычая и проделать всю операцию сначала.

Имея в кармане, скажем, тысячу рублей, мы отправляемся на биржу (если имеем на то право) и вносим эти деньги маклеру с покорнейшей просьбой приобрести на эту сумму акций такого-то и такого-то пароходства или железнодорожного общества или, что самое безопасное, правительственных бумаг. Смотри по обстоятельствам, мы получаем эти бумаги сразу или в течение трех дней, что допускается законом. После этого нам остается только сидеть и ждать. Мы выбрали такие, а не другие бумаги, потому что верим в них и надеемся, что каким-нибудь способом они поднимутся в цене. Допустим, что наши расчеты оправдались. Акция, за которую мы платили по 90 рублей, вдруг повысилась до 95 руб. Следовательно, с каждой акции мы получаем чистого барыша по пяти рублей, а на нашу тысячу – 55 рублей. Откуда взялись эти 55 рублей, нам дела нет; мы довольны результатом и, перепродав свои бумаги, реализуем барыш, не обращая ни малейшего внимания на презрение завзятых биржевиков, третирующих нас за то, что мы играем на наличные.

Нам, продолжаю я свою гипотезу, очень понравилось делать из 1 тысячи – 1050 рублей без всякого труда со своей стороны и, в сущности, с очень незначительным риском. Аппетит, как говорится, приходит по мере того, как человек ест, и наш аппетит тоже начинает разыгрываться. Сегодня мы ухватили 50, завтра 10, потом опять 50 – что лучше? Мы распеваем “гром победы раздавайся” и думаем, что не дурак, должно быть, был тот человек, который выдумал все эти акции, займы, кредитки, а главное – биржевую игру. Как люди скромные, мы до поры до времени удовлетворяемся нашим ничтожным выигрышем и различными философскими соображениями устраняем соблазны большего риска. На беду, нам вдруг невероятно повезло. Случилось это вот как. Мы только что купили на все наши наличные деньги, в 12 часов утра, японских правительственных акций и мирно ожидаем, что из этого будет. Бьет 2 часа, биржа скоро должна закрыться, как вдруг приходит телеграмма: “Китайцы разбиты на всех пунктах, просят о заключении мира и готовы на какие угодно условия”. Японские правительственные акции, лежащие у нас в кармане, немедленно же идут в гору. Очень может быть, что телеграмма неверна – это безразлично, важно, что акции поднялись, мы их продали и потираем себе руки от удовольствия. Да здравствует Япония!

Постепенно мы присматриваемся к бирже и нет-нет вступаем в разговоры со сведущими людьми. Сведущие люди, узнав, что мы играем на наличные, всплескивают руками и говорят: “Да что вы? Да в каком

столетии вы живете? Нельзя-с... вы – люди образованные!” Мы пристыжены и спрашиваем, что же делать. – “Да играйте на срок, на повышение или понижение”. – “На срок? Что же то означает?” – “Да то же, что на наличные, с тою только разницей, что вы продаете то, чего у вас нет, а покупаете у другого то, чего у него нет”... В полном недоумении уходим мы с биржи. А в это время до нас то и дело доносятся слухи: такой-то выиграл 20 тысяч, такой-то – 100... Чем? Игрой на срок...

Не будучи в состоянии сразу отказаться от интеллигентных привычек и стать заправскими биржевыми игроками, мы берем соответственные книги о бирже и начинаем читать.

Мы узнаем, что в течение всего XVIII века французское правительство преследовало сделки на срок, как незаконные, а во время революции за них даже казнили! Таковую же борьбу со сделками на срок мы видим и в других государствах. С довольной улыбкой сообщаем мы об этом сведущему человеку и говорим: “Сделки на срок, в сущности, запрещены повсюду, у нас в России в особенности, и поэтому мы, как люди благоразумные, и прочее, и прочее”. Сведущий человек презрительно ухмыляется(!) : “Запрещены? А покажите мне такое государство, где бы ежедневно не заключалось сделок на срок на целые миллионы? Острова Таити? Эфиопия? Ашантия и Дагомея? Плюньте, господа! И как вы отличите сделку на срок от сделки на наличные? Ведь для этого придется упразднить всю систему кредита, а значит – всю торговлю и промышленность. Всякое коммерческое предприятие есть сделка на срок. Еще раз, господа, плюньте и... играйте!”... Но мы опять беремся за свои книги и на первых порах приходим в недоумение, почему сделки на срок подвергались таким жестоким преследованиям? Правда, что такое сделка на срок?

“Сделка на срок представляет собой договор, по которому одно лицо продало другому известное количество товара, бумажных ценностей, по известной определенной цене, с обязанностью сдать этот товар, эти ценности к условленному сроку. Между заключением, стало быть, и исполнением договора существует известный промежуток времени, в виде срока, установленного по добровольному соглашению сторон. В момент наступления срока продавец обязан сдать бумаги, а покупатель обязан их принять и уплатить условленную цену.

При заключении сделки на срок продавец может не иметь вовсе в наличности тех ценностей, которые он продает, покупатель же, равным образом, может не иметь в наличности денежной суммы, выражающей собою покупную цену. Ни того, ни другого вовсе не требуется. Хотя можно легко допустить противоположное, и хотя в действительности весьма часто

бывает, что продавец в момент совершения сделки либо уже владеет продаваемыми бумагами, либо имеет их в своем распоряжении к определенному сроку, а покупатель обладает уже в этот момент требуемой денежной суммой, – однако обстоятельство это не имеет существенного значения и не играет здесь никакой роли. Если продавец не имеет бумаг в момент продажи, то он ведь может приобрести их ежеминутно, в промежутки времени между моментом заключения и моментом исполнения договора, дабы сдать их покупателю к сроку. Для последнего поэтому совершенно безразлично, когда именно бумаги, им купленные, очутились в руках продавца, лишь бы они были им сданы в срок”.

Итак, сущность сделки на срок заключается в том, что купленные мною ценности я получаю в свои руки не сразу, а через известный, заранее установленный, промежуток времени – через неделю, месяц, три месяца. Для меня это может быть выгодно и невыгодно, смотря по обстоятельствам. Я, например, покупаю 100 акций по 100 руб. каждая с тем, чтобы мне их доставили через год. За этот год многое может случиться, но допустим, что акция повысилась и стоит не 100 руб., а 120 руб. Получивши свои 100 акций, я наживаю таким образом 2000 руб.

За что же тут гильотинировать, за что объявлять, как сделало это французское правительство: “Биржевые операции на срок признаются деяниями зловредными, подлежат законной ответственности, как противные доброй нравственности, и, хотя бы они не были противны законам, лица, их совершающие, предаются угрызениям совести, позору и бесчестию”?

Мы лихорадочно переворачиваем несколько страниц и наконец-то находим то, что нам нужно: “Сделки на срок всегда (или в 99 случаях из ста) бывают чисто фиктивными, на самом деле это сделка на *разность*”. Здесь-то и кроется причина всех громов, наказаний и прочего.

“Сделкою на разность должно считать лишь такую, при заключении коей одна сторона не имела намерения приобрести бумаги и не имела права, по содержанию оной, требовать их сдачи, а другая – не имела намерения продавать бумаг и не была вправе требовать их приема. Отсутствие намерений обоих контрагентов относительно сдачи и приема ценностей, отсутствие права обоих требовать действительной сдачи и приема, выразившееся при этом положительно в условиях самой сделки, характеризует сделку на разность, как фиктивную, несерьезную. Когда оба контрагента выразили в сделке на срок намерение рассчитаться лишь разностью курсов, и в условиях сделки исключили право требования фактической сдачи и приема бумаг, тогда имеется налицо чистая сделка на

разность, договор, пари или биржевая игра”.

В том, что я, покупая, не имел намерения купить, а другой, продавая мне, не имел намерения продать, – и заключается сущность сделки на разность. Таинственный смысл фразы “Я продаю то, чего у меня нет, и покупаю у другого то, чего у него нет” наконец-то открылся.

Возьмем пример. Я и N заключаем договор, на основании которого я покупаю 100 акций по 100 рублей каждая, которые должны (то есть фиктивно *должны*) быть мне доставлены через месяц. Я играю на повышение, то есть, почему бы то ни было, я твердо убежден, что акции поднимутся в цене через установленный в договоре срок. Он наступил. Тут возможны два случая: 1) акции повысились со 100 на 120 рублей. В таком случае приобретенные мною бумаги стоят уже не 10 тысяч руб., а 12 тысяч руб. Но N, продавший мне их, не имеет ни одной. Он поэтому платит мне только разницу, то есть 2000 руб. 2) Акции понизились со 100 руб. на 80 руб. Но я обязался внести 10 тысяч руб., тогда как купленные мною бумаги стоят всего лишь 8 тысяч руб. В таком случае я уплачиваю N 2000 руб., то есть разницу.

В приведенных примерах я, покупатель, играл на повышение, а N, продавец, – на понижение. Моя выгода требовала, чтобы акции повысились, выгода N – обратного. У меня не было 10 тысяч руб., а у N не было акций. Мы заключили сделку на несуществующие ценности – расплатились по разнице курса...

Европейские правительства приравнивают биржевую игру на разность к азартным. И такая точка зрения как нельзя более справедлива. Играя на повышение, то есть, покупая бумаги, не имеющие определенной ценности, я, в сущности, держу пари, что бумаги повысятся, а играя на понижение, то есть продавая, я держу пари на обратное. Предугадать действительное повышение или понижение – невозможно. То и другое зависит от тысячи причин – расположения духа министра, погоды, объявления войны и заключения мира, вспыхнувшей революции, крушения поезда, гибели пароходов, смерти главы государства, рождения наследника и т.д., и т.д. Мы видели, какую услугу оказала Натану-Майеру битва при Ватерлоо, а сколько крахов или обогащений ведет за собой на бирже урожай или неурожай! Кто мог предвидеть, чем закончится русско-турецкая война, к чему поведут неприятности России с Англией из-за границ, что будет убит Карно и т. д.? Все это случайности истории, а самый чувствительный из барометров – биржа – отражает на себе все даже самые незначительные колебания политической и экономической погоды, и даже просто погоды, потому что от нее зависит урожай или неурожай, а подчас и выигранное

или проигранное сражение. Следовательно, на бирже можно играть лишь наугад; играть наверняка может только тот, кто знает то, чего никто другой не знает, как, например, Натан-Майер, осведомившийся об исходе битвы при Ватерлоо раньше английского правительства. Необузданное увлечение и беспричинная паника на бирже постоянно сменяют друг друга. Позволю себе привести следующую сцену из “Денег” Золя, всю проникнутую неврозом биржевой горячки:

“Пробил час, колокол возвестил открытие биржи. Это была памятная биржа, один из тех злополучных дней повышения, которые выдаются редко, но остаются легендарными. Сначала – в убийственной жаре, курс еще несколько понизился. Потом несколько отдельных неожиданных покупок, словно ружейная перестрелка застрельщиков перед сражением, удивили игроков. Но, благодаря общему недоверию, сделки заключались все-таки с трудом. Вдруг покупки загорелись в кулисе у присяжных маклеров, со всех сторон; под колоннадой только и слышны были что голоса Натансона, Мазо, Якоби, Деларока, кричавшие, что покупают все бумаги по всякой цене: все задрожало, заволновалось, но никто еще не смел рискнуть, не понимая этой неожиданной перемены. Курс слегка поднялся, и Саккар успел еще послать новый приказ Натансону через Массиаса. Ему удалось также поймать бежавшего мимо него маленького Флори, и он написал ордер Мазо, поручая покупать и покупать; Флори прочел ордер, и, идя по следам своего великого человека, начал покупать за свой счет. В эту самую минуту, в три четверти второго, над биржей разразился громовой удар: Австрия уступает Венецианскую область императору, война кончена. Никто не знал, кто принес это известие, но оно повторялось всеми, даже камнями мостовой. Кто-то принес его, и все подхватили в усиливающемся шуме, разраставшемся, как морской прилив в равноденствие. В оглушительной суматохе курс быстро поднимался беспорядочными скачками. До звонка, перед закрытием биржи, он поднялся на сорок, пятьдесят франков. Свалка вышла невыразимая; это была беспорядочная битва, где солдаты и командиры бросаются, спасая свою шкуру, оглушенные и ослепленные, без всякого осознания настоящего положения дел. Все обливались потом; бьющее по лестнице солнце охватывало здание заревом пожара.

При ликвидации, когда стало возможно определить поражение, оно оказалось колоссальным: поле битвы было усеяно ранеными и разоренными”.

“Поле битвы, усеянное ранеными и разоренными” – обычный результат тех дней, когда биржа узнает о важных событиях.

Но важные события – исключения. Игра же происходит постоянно. Следовательно, нужно найти замену важным событиям. Это – слухи и заведомо ложные сообщения.

История европейской биржи знает немало дней, когда ловкие мошенники пользовались напряженным ожиданием со стороны публики какого-нибудь известия, изобретали таковое и получали громадные барыши на покупке и продаже бумаг. В 1803 году, когда шли переговоры между Францией и Англией, грозившие ежеминутно закончиться войною, на “Mansion House” появилось отпечатанное крупным шрифтом сообщение за подписью министра и лорд-мэра о том, что переговоры завершены благополучно и мир обеспечен. Биржа взволновалась, государственные бумаги гигантскими скачками пошли в гору. Повышатели в два-три часа нажились сколько хотели, а между тем сообщение было не более чем уткой. В 1885 году в один прекрасный день на видном месте лондонской биржи красовалось письмо лорда Гренвиля, уверявшее всех владельцев чилийских ценностей, что правительство сумело защитить их интересы и что опасения их излишни. Чилийские ценности повысились, а письмо оказалось не более как мошеннической проделкой.

Перечисление подобных фактов можно было бы продолжать до бесконечности. Распускание ложных слухов – это такой обычный прием, что есть целая категория лиц, состоящих на содержании крупных банкиров, которые только этим и занимаются. Можно было бы удивляться поразительной детской наивности биржевых дельцов, но мы не должны забывать того обстоятельства, что на бирже всегда фигурирует толпа, – толпа людей с напряженными нервами, ежедневно ставящих на карту все свое состояние и будущее, – толпа азартных игроков, подверженных экстазу и панике. Разобраться в шуме и гаме этой толпы невозможно; отдельный обыкновенный человек может лишь покорно следовать за потоком, не зная, куда его вынесет этот поток, что найдет он на том берегу – роскошный дворец или лачугу бедняка. Все равно как если в толпе начинают кричать “Пожар!” – вы бросаетесь к выходу, не думая даже удостовериться, есть ли в действительности пламя и дым, – так и на бирже в минуту паники вы начинаете играть на понижение, хотя, быть может, теряете на этом все.

В сущности, только такой неисчерпаемый запас миллионов, какой есть у Ротшильдов, может предохранить от всякого риска во время игры. Это зависит от того, что при помощи миллионов можно оказывать любое давление на биржу и вызывать такое настроение, которое для всех выгодно. Делается это очень просто. Вам надо, например, понизить ценность таких-

то акций. Для этого вы сегодня продаете, скажем, 1 тысячу акций, завтра 2 тысячи, потом 3 тысячи, 4 тысячи и так далее. Предложение громадно, биржа встревожена и старается одинаково освободиться от своего запаса акций, на которые вы играете. Цена падает, и за бесценок вы скупаете столько акций, сколько заблагорассудится. Потом вы их держите в сундуке до той поры, пока спрос не повысит стоимости до желаемых вами пределов. Так постоянно поступал Джеймс Ротшильд. Чтобы совершенно ничего не терять, он действовал еще хитроумнее: продавал громадные партии бумаг своим же собственным агентам и, вызвав панику, наживался на ней.

Такова таинственная камера-обскура биржи – это поле битвы, где Ротшильды одержали свои грандиозные победы где были созданы их миллионы, откуда непрерывно лился поток золота в глубокие подвалы их банкирских контор. Мы не скажем ни слова ни в оправдание, ни в обвинение, но не правда ли, странную и поразительную картину представляет из себя эта все возвышающаяся золотая башня Ротшильдов?

Источники

- 1) “The Rothschilds”, *John Reeves*.
- 2) Letters of *Sir Thomas Towell Booxton*.
- 3) “Исторический вестник” за 1887г., № 8, статья *П. Усова*.
- 4) *Студентский*, “Биржа, спекуляция и игра”.
- 5) Воспоминания *А. Токвиля*.
- 6) “Stock-Exchange, its history and present position”.

notes

Примечания

1

“Отец Горио” (фр.).

2

как дела? (фр.)

“Я – добрый король доброго народа” (фр.).

4

доброто народа (фр.).

5

с нарастанием мощи (*итал., муз. термин*).

6

наитончайшего (*фр.*).

7

модную (*фр.*).

“...по истинной вере христиан” (англ.).

9

cause celebre – громкое дело; сенсационный судебный процесс (фр.).

10

Это старая история *(нем.)*.

Низко пригибая голову, бродят по земле звери, но Бог дал человеку возвышенное лицо и приказал обращать его к небу, где обитают правда и вечность (*лат.*).